



ФРИДРИХ

НИЦШЕ

**ТАК ГОВОРИЛ
ЗАРАТУСТРА**

*Книги, изменившие мир.
Листатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Фридрих Ницше
Так говорил Заратустра
Серия «Эксклюзивная классика»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5815055
Ницше, Фридрих. Так говорил Заратустра: АСТ; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-090944-5

Аннотация

Трактат «Так говорил Заратустра» называют ницшеанской Библией.

В нем сформулирована излюбленная идея Ницше – идея Сверхчеловека, который является для автора нравственным образцом, смыслом существования, тем, к чему нужно стремиться.

Человек же – лишь мост между животным и Сверхчеловеком.

Необычная форма – поэтичная, афористичная – не совсем соответствует нашим представлениям о философском трактате. Однако, вчитываясь, мы улавливаем ход мысли автора, все глубже проникаемся его идеями и убеждениями...

Содержание

Часть первая	5
Предисловие Заратустры	5
1	5
2	5
3	6
4	7
5	9
6	10
7	11
8	11
9	12
10	13
Речи Заратустры	14
О трех превращениях	14
О кафедрах добродетели	15
О потусторонниках	16
О презирующих тело	18
О радостях и страстях	19
О бледном преступнике	20
О чтении и письме	21
О дереве на горе	22
О проповедниках смерти	24
О войне и воинах	25
О новом кумире	26
О базарных мухах	28
О целомудрии	29
О друге	30
О тысяче и одной цели	31
О любви к ближнему	33
О пути созидającego	33
О старых и молодых бабенках	35
Об укусе змеи	36
О ребенке и браке	37
О свободной смерти	38
О дарящей добродетели	40
1	40
2	41
3	42
Часть вторая	44
Ребенок с зеркалом	44
На блаженных островах	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Фридрих Ницше

Так говорил Заратустра

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Часть первая

Предисловие Заратустры

1

Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся этим. Но наконец изменилось сердце его – и в одно утро поднялся он с зарею, стал перед солнцем и так говорил к нему:

«Великое светило! К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь!

В течение десяти лет подымалось ты к моей пещере: ты пресытилось бы своим светом и этой дорогою, если б не было меня, моего орла и моей змеи.

Но мы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя преизбыток твой и благословляли тебя.

Взгляни! Я пресытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду; мне нужны руки, простерты ко мне.

Я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные – богатству своему.

Для этого я должен спуститься вниз: как делаешь ты каждый вечер, окунаясь в море и неся свет свой на другую сторону мира, ты, богатейшее светило!

Я должен, подобно тебе, *закатиться*, как называют это люди, к которым хочу я спуститься.

Так благослови же меня, ты, спокойное око, без зависти вззирающее даже на чрезмерно большое счастье!

Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага текла из нее и несла всюду отблеск твоей отрады!

Взгляни, эта чаша хочет опять стать пустою, и Заратустра хочет опять стать человеком».

– Так начался закат Заратустры.

2

Заратустра спустился один с горы, и никто не повстречался ему. Но когда вошел он в лес, перед ним неожиданно предстал старец, покинувший свою священную хижину, чтобы поискать кореньев в лесу. И так говорил старец Заратустре:

«Мне не чужд этот странник: несколько лет тому назад проходил он здесь. Заратустрой назывался он; но он изменился.

Тогда нес ты свой прах на гору; неужели теперь хочешь ты нести свой огонь в долины? Неужели не боишься ты кары поджигателю?

Да, я узнаю Заратустру. Чист взор его, и на устах его нет отвращения. Не потому ли и идет он, точно танцует?

Заратустра преобразился, ребенком стал Заратустра, Заратустра проснулся: чего же хочешь ты среди спящих?

Как на море, жил ты в одиночестве, и море носило тебя. Увы! ты хочешь выйти на сушу? Ты хочешь снова сам таскать свое тело?»

Заратустра отвечал: «Я люблю людей».

«Разве не потому, – сказал святой, – ушел и я в лес и пустыню? Разве не потому, что и я слишком любил людей?»

Теперь люблю я Бога: людей не люблю я. Человек для меня слишком несовершенен. Любовь к человеку убила бы меня».

Заратустра отвечал: «Что говорил я о любви! Я несу людям дар».

«Не давай им ничего, – сказал святой. – Лучше сними с них что-нибудь и неси вместе с ними – это будет для них всего лучше, если только это лучше и для тебя!»

И если ты хочешь им дать, дай им не больше милостыни и еще заставь их просить ее у тебя!»

«Нет, – отвечал Заратустра, – я не даю милостыни. Для этого я недостаточно беден».

Святой стал смеяться над Заратустрой и так говорил: «Тогда постарайся, чтобы они приняли твои сокровища! Они недоверчивы к отшельникам и не верят, что мы приходим, чтобы дарить».

Наши шаги по улицам звучат для них слишком одиноко. И если они ночью, в своих кроватях, услышат человека, идущего задолго до восхода солнца, они спрашивают себя: куда крадется этот вор?

Не ходи же к людям и оставайся в лесу! Иди лучше к зверям! Почему не хочешь ты быть, как я, – медведем среди медведей, птицею среди птиц?»

«А что делает святой в лесу?» – спросил Заратустра.

Святой отвечал: «Я слагаю песни и пою их; и когда я слагаю песни, я смеюсь, плачу и бормочу себе в бороду: так славлю я Бога».

Пением, плачем, смехом и бормотанием славлю я Бога, моего Бога. Но скажи, что несешь ты нам в дар?»

Услышав эти слова, Заратустра поклонился святому и сказал: «Что мог бы я дать вам! Позвольте мне скорее уйти, чтобы чего-нибудь я не взял у вас!» – Так разошлись они в разные стороны, старец и человек, и каждый смеялся, как смеются дети.

Но когда Заратустра остался один, говорил он так в сердце своем: «Возможно ли это! Этот святой старец в своем лесу еще не слышал о том, что *Бог мертв*».

3

Придя в ближайший город, лежавший за лесом, Заратустра нашел там множество народа, собравшегося на базарной площади: ибо ему обещано было зрелище – плясун на канате. И Заратустра говорил так к народу:

Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его?

Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека?

Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором.

Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от червя. Некогда были вы обезьяной, и даже теперь еще человек больше обезьяны, чем иная из обезьян.

Даже мудрейший среди вас есть только разлад и помесь растения и призрака. Но разве я велю вам стать призраком или растением?

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке!

Сверхчеловек – смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: *да будет* сверхчеловек смыслом земли!

Я заклинаю вас, братья мои, *оставайтесь верны земле* и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах! Они отравители, все равно, знают ли они это или нет.

Они презирают жизнь, эти умирающие и сами себя отравившие, от которых устала земля: пусть же исчезнут они!

Прежде хула на Бога была величайшей хулой; но Бог умер, и вместе с ним умерли и эти хулители. Теперь хулить землю – самое ужасное преступление, так же как чтить сущность непостижимого выше, чем смысл земли!

Некогда смотрела душа на тело с презрением: и тогда не было ничего выше, чем это презрение, – она хотела видеть тело тощим, отвратительным и голодным. Так думала она бежать от тела и от земли.

О, эта душа сама была еще тощей, отвратительной и голодной; и жестокость была вождением этой души!

Но и теперь еще, братья мои, скажите мне: что говорит ваше тело о вашей душе? Разве ваша душа не есть бедность и грязь и жалкое довольство собою?

Поистине, человек – это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым.

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он – это море, где может потонуть ваше великое презрение.

В чем то самое высокое, что можете вы пережить? Это – час великого презрения. Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, так же как ваш разум и ваша добродетель.

Час, когда вы говорите: «В чем мое счастье! Оно – бедность и грязь и жалкое довольство собою. Мое счастье должно бы было оправдывать само существование!»

Час, когда вы говорите: «В чем мой разум! Добивается ли он знания, как лев своей пищи? Он – бедность и грязь и жалкое довольство собою!»

Час, когда вы говорите: «В чем моя добродетель! Она еще не заставила меня безумствовать. Как устал я от добра моего и от зла моего! Все это бедность и грязь и жалкое довольство собою!»

Час, когда вы говорите: «В чем моя справедливость! Я не вижу, чтобы был я пламенем и углем. А справедливый – это пламень и уголь!»

Час, когда вы говорите: «В чем моя жалость! Разве жалость – не крест, к которому приговораются каждый, кто любит людей? Но моя жалость не есть распятие».

Говорили ли вы уже так? Воскликали ли вы уже так? Ах, если бы я уже слышал вас так восклицающими!

Не ваш грех – ваше самодовольство вопиет к небу; ничтожество ваших грехов вопиет к небу!

Но где же та молния, что лизнет вас своим языком? Где то безумие, что надо бы привить вам?

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он – эта молния, он – это безумие! —

Пока Заратустра так говорил, кто-то крикнул из толпы: «Мы слышали уже довольно о канатном плясуне; пусть нам покажут его!» И весь народ начал смеяться над Заратустрой. А канатный плясун, подумав, что эти слова относятся к нему, принялся за свое дело.

4

Заратустра же глядел на народ и удивлялся. Потом он так говорил:

Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью.

Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный назад, опасны страх и остановка.

В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он *переход* и *гибель*.

Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо идут они по мосту.

Я люблю великих ненавистников, ибо они великие почитатели и стрелы тоски по другому берегу.

Я люблю тех, кто не ищет за звездами основания, чтобы погибнуть и сделаться жертвою – а приносит себя в жертву земле, чтобы земля некогда стала землею сверхчеловека.

Я люблю того, кто живет для познания и кто хочет познавать для того, чтобы когда-нибудь жил сверхчеловек. Ибо так хочет он своей гибели.

Я люблю того, кто трудится и изобретает, чтобы построить жилище для сверхчеловека и приготовить к приходу его землю, животных и растения: ибо так хочет он своей гибели.

Я люблю того, кто любит свою добродетель: ибо добродетель есть воля к гибели и стрела тоски.

Я люблю того, кто не бережет для себя ни капли духа, но хочет всецело быть духом своей добродетели: ибо так, подобно духу, проходит он по мосту.

Я люблю того, кто из своей добродетели делает свое тяготение и свою напасть: ибо так хочет он ради своей добродетели еще жить и не жить более.

Я люблю того, кто не хочет иметь слишком много добродетелей. Одна добродетель есть больше добродетель, чем две, ибо она в большей мере есть тот узел, на котором держится напасть.

Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет благодарности и не воздаст ее: ибо он постоянно дарит и не хочет беречь себя.

Я люблю того, кто стыдится, когда игральная кость выпадает ему на счастье, и кто тогда спрашивает: неужели я игрок-обманщик? – ибо он хочет гибели.

Я люблю того, кто бросает золотые слова впереди своих дел и исполняет всегда еще больше, чем обещает: ибо он хочет своей гибели.

Я люблю того, кто оправдывает людей будущего и искупляет людей прошлого: ибо он хочет гибели от людей настоящего.

Я люблю того, кто карает своего Бога, так как он любит своего Бога: ибо он должен погибнуть от гнева своего Бога.

Я люблю того, чья душа глубока даже в ранах и кто может погибнуть при малейшем испытании: так охотно идет он по мосту.

Я люблю того, чья душа переполнена, так что он забывает самого себя, и все вещи содержатся в нем: так становятся все вещи его гибелью.

Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем: так голова его есть только утроба сердца его, а сердце его влечет его к гибели.

Я люблю всех тех, кто являются тяжелыми каплями, падающими одна за другой из темной тучи, нависшей над человеком: молния приближается, возвещают они и гибнут, как провозвестники.

Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи; но эта молния называется *сверхчеловек*.

5

Произнесши эти слова, Заратустра снова посмотрел на народ и умолк. «Вот стоят они, – говорил он в сердце своем, – вот смеются они: они не понимают меня, мои речи не для этих ушей.

Неужели нужно сперва разодрать им уши, чтобы научились они слушать глазами? Неужели надо греметь, как литавры и как проповедники покаяния? Или верят они только заикающемуся?

У них есть нечто, чем гордятся они. Но как называют они то, что делает их гордыми? Они называют это культурой, она отличает их от козопасов.

Поэтому не любят они слышать о себе слово «презрение». Буду же говорить я к их гордости.

Буду же говорить я им о самом презренном существе, а это и есть *последний человек*».

И так говорил Заратустра к народу:

Настало время, чтобы человек поставил себе цель свою. Настало время, чтобы человек посадил росток высшей надежды своей.

Его почва еще достаточно богата для этого. Но эта почва будет когда-нибудь бедной и бесплодной, и ни одно высокое дерево не будет больше расти на ней.

Горе! Приближается время, когда человек не пустит более стрелы тоски своей выше человека и тетива лука его разучится дрожать!

Я говорю вам: нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Я говорю вам: в вас есть еще хаос.

Горе! Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе! Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя.

Смотрите! Я показываю вам *последнего человека*.

«Что такое любовь? Что такое творение? Устремление? Что такое звезда?» – так вопрошает последний человек и моргает.

Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех.

«Счастье найдено нами», – говорят последние люди и моргают.

Они покинули страны, где было холодно жить: ибо им необходимо тепло. Также любят они соседа и жмутся к нему: ибо им необходимо тепло.

Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом: ибо ходят они осматривательно. Одни безумцы еще спотыкаются о камни или о людей!

От времени до времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть.

Они еще трудятся, ибо труд – развлечение. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло их.

Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое слишком хлопотно. И кто захотел бы еще управлять? И кто повиноваться? То и другое слишком хлопотно.

Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом.

«Прежде весь мир был сумасшедший», – говорят самые умные из них и моргают.

Все умны и знают все, что было; так что можно смеяться без конца. Они еще ссорятся, но скоро мирятся – иначе это расстраивало бы желудок.

У них есть свое удовольствиице для дня и свое удовольствиице для ночи; но здоровье – выше всего.

«Счастье найдено нами», – говорят последние люди и моргают.

Здесь окончилась первая речь Заратустры, называемая также «Предисловием», ибо на этом месте его прервали крик и радость толпы. «Дай нам этого последнего человека, о Заратустра, – так восклицали они, – сделай нас похожими на этих последних людей! И мы подарим тебе сверхчеловека!» И все радовались и шелкали языком. Но Заратустра стал печален и сказал в сердце своем:

«Они не понимают меня: мои речи не для этих ушей.

Очевидно, я слишком долго жил на горе, слишком часто слушал ручьи и деревья; теперь я говорю им, как козопасам.

Непреклонна душа моя и светла, как горы в час дополуденный. Но они думают, что холоден я и что говорю я со смехом ужасные шутки.

И вот они смотрят на меня и смеются, и, смеясь, они еще ненавидят меня. Лед в смехе их».

6

Но тут случилось нечто, что сделало уста всех немыми и взор неподвижным. Ибо тем временем канатный плясун начал свое дело: он вышел из маленькой двери и пошел по канату, протянутому между двумя башнями и висевшему над базарной площадью и народом. Когда он находился посреди своего пути, маленькая дверь вторично отворилась, и детина, пестро одетый, как скоморох, выскочил из нее и быстрыми шагами пошел вослед первому. «Вперед, хромоногий, – кричал он своим страшным голосом, – вперед, ленивая скотина, контрабандист, набеленная рожа! Смотри, чтобы я не пощекотал тебя своею пяткою! Что делаешь ты здесь между башнями? Ты вышел из башни; туда бы и следовало запереть тебя, ты загораживаешь дорогу тому, кто лучше тебя!» – И с каждым словом он все приближался к нему – и, когда был уже на расстоянии одного только шага от него, случилось нечто ужасное, что сделало уста всех немыми и взор неподвижным: он испустил дьявольский крик и прыгнул через того, кто загородил ему дорогу. Но этот, увидев, что его соперник побеждает его, потерял голову и канат; он бросил свой шест и сам еще быстрее, чем шест, полетел вниз, как какой-то вихрь из рук и ног. Базарная площадь и народ походили на море, когда проносится буря: все в смятении бежало в разные стороны, большею частью там, где должно было упасть тело.

Но Заратустра оставался на месте, и прямо возле него упало тело, изодранное и разбитое, но еще не мертвое. Немного спустя к раненому вернулось сознание, и он увидел Заратустру, стоявшего возле него на коленях. «Что ты тут делаешь? – сказал он наконец. – Я давно знал, что черт подставит мне ногу. Теперь он тащит меня в преисподнюю; не хочешь ли ты помешать ему?»

«Клянусь честью, друг, – отвечал Заратустра, – не существует ничего, о чем ты говоришь: нет ни черта, ни преисподней. Твоя душа умрет еще скорее, чем твое тело: не бойся же ничего!»

Человек посмотрел на него с недоверием. «Если ты говоришь правду, – сказал он, – то, теряя жизнь, я ничего не теряю. Я немного больше животного, которого ударами и впроголодь научили плясать».

«Не совсем так, – сказал Заратустра, – ты из опасности сделал себе ремесло, а за это нельзя презирать. Теперь ты гибнешь от своего ремесла: за это я хочу похоронить тебя своими руками».

На эти слова Заратустры умирающий ничего не ответил; он только пошевелил рукою, как бы ища, в благодарность, руки Заратустры. —

7

Тем временем наступил вечер, и базарная площадь скрылась во мраке; тогда рассеялся и народ, ибо устают даже любопытство и страх. Но Заратустра продолжал сидеть на земле возле мертвого и был погружен в свои мысли: так забыл он о времени. Наконец наступила ночь, и холодный ветер подул на одинокого. Тогда поднялся Заратустра и сказал в сердце своем:

«Поистине, прекрасный улов был сегодня у Заратустры. Он не поймал человека, зато труп поймал он.

Жутко человеческое существование и к тому же всегда лишено смысла: скоморох может стать уделом его.

Я хочу учить людей смыслу их бытия: этот смысл есть сверхчеловек, молния из темной тучи, называемой человеком.

Но я еще далек от них, и моя мысль не говорит их мыслям. Для людей я еще середина между безумцем и трупом.

Темна ночь, темны пути Заратустры. Идем, холодный, недвижимый товарищ! Я несущу тебя туда, где я похороню тебя своими руками».

8

Сказав это в сердце своем, Заратустра взял труп себе на спину и пустился в путь. Но не успел он пройти и ста шагов, как человек подкрался к нему и стал шептать ему на ухо – и гляди-ка, тот, кто говорил, был скоморох с башни. «Уходи из этого города, о Заратустра, – говорил он, – слишком многие ненавидят тебя здесь. Ненавидят тебя добрые и праведные, и они зовут тебя своим врагом и ненавистником; ненавидят тебя правоверные, и они зовут тебя опасным для толпы. Счастье твое, что смеялись над тобою: и поистине, ты говорил, как скоморох. Счастье твое, что ты пристал к мертвой собаке; унизившись так, ты спас себя на сегодня. Но уходи прочь из этого города – или завтра я перепрыгну через тебя, живой через мертвого». И сказав это, человек исчез; а Заратустра продолжал свой путь по темным улицам.

У ворот города повстречались ему могильщики; они факелом посветили ему в лицо, узнали Заратустру и много издевались над ним: «Заратустра уносит с собой мертвую собаку: браво, Заратустра обратился в могильщика! Ибо наши руки слишком чисты для этой поживы. Не хочет ли Заратустра украсть у черта его кусок? Ну, так и быть! Желаем хорошо поужинать! Если только черт не более ловкий вор, чем Заратустра! – Он украдет их обоих, он сожрет их обоих!» И они смеялись и шушукались между собой.

Заратустра не сказал на это ни слова и шел своей дорогой. Он шел два часа по лесам и болотам и очень часто слышал голодный вой волков; наконец и на него напал голод. Он остановился перед уединенным домом, в котором горел свет.

«Голод нападает на меня, как разбойник, – сказал Заратустра. – В лесах и болотах нападает на меня голод мой и в глубокую ночь.

Удивительные капризы у моего голода. Часто наступает он у меня только после обеда, и сегодня целый день я не чувствовал его; где же замешкался он?»

И с этими словами Заратустра постучался в дверь дома. Появился старик; он нес фонарь и спросил: «Кто идет ко мне и нарушает мой скверный сон?»

«Живой и мертвый, – отвечал Заратустра. – Дайте мне поесть и попить; днем я забыл об этом. Тот, кто кормит голодного, насыщает свою собственную душу: так говорит мудрость».

Старик ушел, но тотчас вернулся и предложил Заратустре хлеб и вино. «Здесь плохой край для голодающих, – сказал он, – поэтому я и живу здесь. Зверь и человек приходят ко мне, отшельнику. Но позови же своего товарища поесть и попить, он устал еще больше, чем ты». Заратустра отвечал: «Мертв мой товарищ, было бы трудно уговорить его поесть». «Это меня не касается, – ворча произнес старик, – кто стучится в мою дверь, должен принимать то, что я ему предлагаю. Ешьте и будьте здоровы!» —

После этого Заратустра шел еще два часа, доверяясь дороге и свету звезд: ибо он был привычный ночной ходок и любил всему спящему смотреть в лицо. Но когда стало светать, Заратустра очутился в глубоком лесу, и дальше уже не было видно дороги. Тогда он положил мертвого в дупло дерева на высоте своей головы – ибо он хотел защитить его от волков – и сам лег на землю, на мох. И тотчас уснул он, усталый телом, но с непреклонной душою.

9

Долго спал Заратустра, и не только утренняя заря, но и час дополуденный прошли по лицу его. Но наконец он открыл глаза: с удивлением посмотрел Заратустра на лес и тишину, с удивлением заглянул он внутрь самого себя. Потом он быстро поднялся, как мореплаватель, заведевший внезапно землю, и возликовал: ибо он увидел новую истину. И так говорил он тогда в сердце своем:

«Свет низошел на меня: мне нужны спутники, и притом живые, – не мертвые спутники и не трупы, которых ношу я с собою, куда я хочу.

Мне нужны живые спутники, которые следуют за мною, потому что хотят следовать сами за собой – и туда, куда я хочу.

Свет низошел на меня: не к народу должен говорить Заратустра, а к спутникам! Заратустра не должен быть пастухом и собакою стада!

Сманить многих из стада – для этого пришел я. Негодовать будет на меня народ и стадо: разбойником хочет называться Заратустра у пастухов.

У пастухов, говорю я, но они называют себя добрыми и праведными. У пастухов, говорю я, но они называют себя правоверными.

Посмотри на добрых и праведных! Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя, преступника – но это и есть созидающий.

Посмотри на правоверных! Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя, преступника – но это и есть созидающий.

Спутников ищет созидающий, а не трупов, а также не стад и не верующих. Созидающих так же, как он, ищет созидающий, тех, кто пишут новые ценности на новых скрижалях.

Спутников ищет созидающий и тех, кто собирал бы жатву вместе с ним: ибо все созрело у него для жатвы. Но ему недостает сотни серпов; поэтому он вырывает колосья и негодует.

Спутников ищет созидающий и тех, кто умеет точить свои серпы. Разрушителями будут называться они и ненавистниками добрых и злых. Но они соберут жатву и будут праздновать.

Созидающих вместе с ним ищет Заратустра, собирающих жатву и празднующих вместе с ним ищет Заратустра: что стал бы он созидать со стадами, пастухами и трупами!

И ты, мой первый спутник, оставайся с благом! Хорошо схоронил я тебя в дупле дерева, хорошо спрятал я тебя от волков.

Но я расстаюсь с тобою, ибо время прошло. От зари до зари осенила меня новая истина.

Ни пастухом, ни могильщиком не должен я быть. Никогда больше не буду я говорить к народу: последний раз говорил я к мертвому.

К созидającym, к пожинающим, к торжествующим хочу я присоединиться: радугу хочу я показать им и все ступени сверхчеловека.

Одиноким буду я петь свою песню и тем, кто одиночествует вдвоем; и у кого есть еще уши, чтобы слышать неслыханное, тому хочу я обременить его сердце счастьем своим.

Я стремлюсь к своей цели, я иду своей дорогой; через медлительных и нерадивых перепрыгну я. Пусть будет моя поступь их гибелью!»

10

Так говорил Заратустра в сердце своем, а солнце стало уже на полдень; тогда он вопросительно взглянул на небо: ибо услышал над собою резкий крик птицы. И он увидел орла: описывая широкие круги, неся тот в воздух, а с ним – змея, но не в виде добычи, а как подруга: ибо она обвила своими кольцами шею его.

«Это мои звери!» – сказал Заратустра и возрадовался в сердце своем.

«Самое гордое животное, какое есть под солнцем, и животное самое умное, какое есть под солнцем, – они отправились разведать.

Они хотят знать, жив ли еще Заратустра. И поистине, жив ли я еще?

Опаснее оказалось быть среди людей, чем среди зверей, опасными путями ходит Заратустра. Пусть же ведут меня мои звери!»

Сказав это, Заратустра вспомнил слова святого в лесу, вздохнул и говорил так в сердце своем:

«Если б я мог стать мудрее! Если б я мог стать мудрым вполне, как змея моя!

Но невозможного хочу я: попрошу же я свою гордость идти всегда вместе с моим умом!

И если когда-нибудь мой ум покинет меня – ах, он любит улетать! – пусть тогда моя гордость улетит вместе с моим безумием!» —

Так начался закат Заратустры.

Речи Заратустры

О трех превращениях

Три превращения духа называю я вам: как дух становится верблюдом, львом верблюд и, наконец, ребенком становится лев.

Много трудного существует для духа, для духа сильного и выносливого, который способен к глубокому почитанию: ко всему тяжелому и самому трудному стремится сила его.

Что есть тяжесть? – вопрошает выносливый дух, становится, как верблюд, на колени и хочет, чтобы хорошенько навьючили его.

Что есть трудное? – так вопрошает выносливый дух; скажите, герои, чтобы взял я это на себя и радовался силе своей.

Не значит ли это: унизиться, чтобы заставить страдать свое высокомерие? Заставить блистать свое безумие, чтобы осмеять свою мудрость?

Или это значит: бежать от нашего дела, когда оно празднует свою победу? Подняться на высокие горы, чтобы искусить искуителя?

Или это значит: питаться желудями и травой познания и ради истины терпеть голод души?

Или это значит: больным быть и отослать утешителей и заключить дружбу с глухими, которые никогда не слышат, чего ты хочешь?

Или это значит: опуститься в грязную воду, если это вода истины, и не гнать от себя холодных лягушек и теплых жаб?

Или это значит: тех любить, кто нас презирает, и простирать руку привидению, когда оно собирается пугать нас?

Все самое трудное берет на себя выносливый дух: подобно навьюченному верблюду, который спешит в пустыню, спешит и он в свою пустыню.

Но в самой уединенной пустыне совершается второе превращение: здесь львом становится дух, свободу хочет он себе добыть и господином быть в своей собственной пустыне.

Своего последнего господина ищет он себе здесь: врагом хочет он стать ему, и своему последнему богу, ради победы он хочет бороться с великим драконом.

Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более называть господином и богом? «Ты должен» называется великий дракон. Но дух льва говорит «я хочу».

Чешуйчатый зверь «ты должен», искрясь золотыми искрами, лежит ему на дороге, и на каждой чешуе его блестит, как золото, «ты должен!».

Тысячелетние ценности блестят на этих чешуях, и так говорит сильнейший из всех драконов: «Ценности всех вещей блестят на мне».

«Все ценности уже созданы, и каждая созданная ценность – это я. Поистине, «я хочу» не должно более существовать!» Так говорит дракон.

Братья мои, к чему нужен лев в человеческом духе? Чему не удовлетворяет выучный зверь, воздержный и почтительный?

Создавать новые ценности – этого не может еще лев; но создать себе свободу для нового созидания – это может сила льва.

Завоевать себе свободу и священное Нет даже перед долгом – для этого, братья мои, нужно стать львом.

Завоевать себе право для новых ценностей – это самое страшное завоевание для духа выносливого и почтительного. Поистине, оно кажется ему грабежом и делом хищного зверя.

Как свою святыню, любил он когда-то «ты должен»; теперь ему надо видеть даже в этой святыне произвол и мечту, чтобы добыть себе свободу от любви своей: нужно стать львом для этой добычи.

Но скажите, братья мои, что может сделать ребенок, чего не мог бы даже лев? Почему хищный лев должен стать еще ребенком?

Дитя есть невинность и забвение, новое начинание, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово утверждения.

Да, для игры созидания, братья мои, нужно святое слово утверждения: *своей* воли хочет теперь дух, *свой* мир находит потерявший мир.

Три превращения духа назвал я вам: как дух стал верблюдом, львом верблюд и, наконец, лев ребенком. —

Так говорил Заратустра. В тот раз остановился он в городе, названном «Пестрая корова».

О кафедрах добродетели

Заратустре хвалили одного мудреца, который умел хорошо говорить о сне и о добродетели; за это его высоко чтили и награждали, и юноши садились перед кафедрой его. К нему пошел Заратустра и вместе с юношами сел перед кафедрой его. И так говорил мудрец:

Честь и стыд перед сном! Это первое! И избегайте встречи с теми, кто плохо спит и бодрствует ночью!

Стыдлив и вор в присутствии сна: потихоньку крадется он в ночи. Но нет стыда у ночного сторожа: не стыдась, трубит он в свой рог.

Уметь спать — не пустячное дело: чтобы хорошо спать, надо бодрствовать в течение целого дня.

Десять раз должен ты днем преодолеть самого себя: это даст хорошую усталость, это мак души.

Десять раз должен ты мириться с самим собою: ибо преодоление есть обида, и дурно спит непомиравшийся.

Десять истин должен найти ты в течение дня: иначе ты будешь и ночью искать истины и твоя душа останется голодной.

Десять раз должен ты смеяться в течение дня и быть веселым: иначе будет тебя ночью беспокоить желудок, этот отец скорби.

Немногие знают это; но надо обладать всеми добродетелями, чтобы спать хорошо. Не дал ли я ложного свидетельства? Не нарушил ли я супружеской верности?

Не позволил ли я себе пожелать рабыни ближнего моего? Все это мешало бы хорошему сну.

И даже при существовании всех добродетелей надо еще понимать одно: уметь вовремя послать спать все добродетели.

Чтобы не ссорились между собой эти милые бабенки! И на твоей спине, несчастный!

Живи в мире с Богом и соседом: этого требует хороший сон. И живи также в мире с соседским чертом! Иначе ночью он будет посещать тебя.

Чти начальство и повинуйся ему, даже хромоту начальству! Этого требует хороший сон. Разве моя вина, если власть любит ходить на хромоте ног?

Тот, по-моему, лучший пастух, кто пасет своих овец на тучных лугах: этого требует хороший сон.

Я не хочу ни больших почестей, ни больших сокровищ: то и другое раздражает селезенку. Однако дурно спится без доброго имени и малых сокровищ.

Малочисленное общество для меня предпочтительнее, чем злое; но и оно должно приходить и уходить вовремя: этого требует хороший сон.

Мне также очень нравятся нищие духом: они способствуют сну. Блаженны они, особенно если всегда воздают им должное.

Так проходит день у добродетельного. Но когда наступает ночь, я остерегаюсь, конечно, призывать сон! Он не хочет, чтобы его призывали – его, господина всех добродетелей!

Но я размышляю, что я сделал и о чем думал в течение дня. Пережевывая, спрашиваю я себя терпеливо, как корова: каковы же были твои десять преодолений?

И каковы были те десять примирений, десять истин и десять смехов, которыми мое сердце радовало себя?

При таком обсуждении и взвешивании сорока мыслей на меня сразу нападает сон, незванный, господин всех добродетелей.

Сон колотит меня по глазам – и они тяжелеют. Сон касается уст моих, и они остаются отверстыми.

Поистине, тихими шагами приходит он ко мне, лучший из воров, и похищает у меня мысли: глупый стою я тогда, как эта кафедра.

Но недолго стою я так: затем я уже лежу. —

Слушая эти речи мудреца, Заратустра смеялся в сердце своем: ибо свет низошел на него. И так говорил он в сердце своем:

Глупцом кажется мне этот мудрец со своими сорока мыслями; но я верю, что хорошо ему спится.

Счастлив уже и тот, кто живет вблизи этого мудреца! Такой сон заразителен; даже сквозь толстую стену заразителен он.

Чары живут в самой его кафедре. И не напрасно сидели юноши перед проповедником добродетели.

Его мудрость гласит: так бодрствовать, чтобы сон был спокойный. И поистине, если бы жизнь не имела смысла и я должен был бы выбрать бессмыслицу, то эта бессмыслица казалась бы мне наиболее достойной избрания.

Теперь я понимаю ясно, чего некогда искали прежде всего, когда искали учителей добродетели. Хорошего сна искали себе и увенчанной маками добродетели!

Для всех этих прославленных мудрецов кафедры мудрость была сном без сновидений: они не знали лучшего смысла жизни.

И теперь еще встречаются люди, похожие на этого проповедника добродетели, не всегда, однако, такие же честные, но их время прошло. И не долго стоять им, как уже будут они лежать. Блаженны сонливые: ибо скоро станут они клевать носом. —

Так говорил Заратустра.

О потусторонниках

Однажды и Заратустра устремил мечту свою по ту сторону человека, подобно всем потусторонникам. Актом страдающего и измученного Бога показался тогда мне мир.

Сном показался тогда мне мир и поэтическим творением Бога: разноцветным дымом пред очами божественного недовольника.

Добро и зло, и радость и страдание, и я и ты – все показалось мне разноцветным дымом пред очами Творца. Отвратить взор свой от себя захотел Творец – и тогда создал он мир.

Опьяняющей радостью служит для страдающего – отвратить взор от страдания своего и забыться. Опьяняющей радостью и самозабвением казался мне некогда мир.

Этот мир, вечно несовершенный, отражение вечного противоречия и несовершенный образ – опьяняющая радость для его несовершенного Творца, – таким казался мне некогда мир.

Итак, однажды устремил и я свою мечту по ту сторону человека, подобно всем потусторонникам. Правда ли, по ту сторону человека?

Ах, братья мои, этот Бог, которого я создал, был человеческим творением и человеческим безумием, подобно всем богам!

Человеком был он, и притом лишь бедной частью человека и моего *Я*: из моего собственного праха и пламени явился он мне, этот призрак! И поистине, не из потустороннего мира явился он мне!

Что же случилось, братья мои? Я преодолел себя, страдающего, я отнес свой собственный прах на гору, более светлое пламя обрел я себе. И вот! Призрак *удалился* от меня!

Теперь это было бы для меня страданием и мукой для выздоровевшего – верить в подобные призраки; теперь это было бы для меня страданием и унижением. Так говорю я потусторонникам.

Страданием и бессилием созданы все потусторонние миры, и тем коротким безумием счастья, которое испытывает только страдающий больше всех.

Усталость, желающая одним скачком, скачком смерти, достигнуть конца, бедная усталость неведения, не желающая больше хотеть: ею созданы все боги и потусторонние миры.

Верьте мне, братья мои! Тело, отчаявшееся в теле, ощупывало пальцами обманутого духа последние стены.

Верьте мне, братья мои! Тело, отчаявшееся в земле, слышало, как вещало чрево бытия.

И тогда захотело оно пробиться головою сквозь последние стены, и не только головою, – и перейти в «другой мир».

Но «другой мир» вполне сокрыт от человека, этот обесчеловеченный, бесчеловечный мир, составляющий небесное Ничто; и чрево бытия не вещает человеку иначе, как голосом человека.

Поистине, трудно доказать всякое бытие и трудно заставить его вещать. Скажите мне, братья мои, разве самая дивная из всех вещей не доказана еще лучшим образом?

Да, это *Я* и его противоречие и путаница говорит самым правдивым образом о своем бытии, это созидающее, хотящее и оценивающее *Я* которое есть мера и ценность вещей.

И это самое правдивое бытие – *Я* — говорит о теле и стремится к телу, даже когда оно творит и предается мечтам и бьется разбитыми крыльями.

Все правдивее научается оно говорить, это *Я*; и чем больше оно научается, тем больше находит оно слов, чтобы хвалить тело и землю.

Новой гордости научило меня мое *Я* которой учу я людей: не прятать больше головы в песок небесных вещей, а гордо держать ее, земную голову, которая создает смысл земли!

Новой воле учу я людей: идти той дорогой, которой слепо шел человек, и хвалить ее, и не уклоняться от нее больше в сторону, подобно больным и умирающим!

Больными и умирающими были те, кто презирали тело и землю и изобрели небо и искупительные капли крови; но даже и эти сладкие и мрачные яды брали они у тела и земли!

Своей нищеты хотели они избежать, а звезды были для них слишком далеки. Тогда вздыхали они: «О, если б существовали небесные пути, чтобы прокрасться в другое бытие и счастье!» – тогда изобрели они свою выдумку и кровавое пойло!

Эти неблагодарные – они грезили, что отреклись от своего тела и от этой земли. Но кому же обязаны они судорогами и блаженством своего отречения? Своему телу и этой земле.

Снисходителен Заратустра к больным. Поистине, он не сердится на их способы утешения и на их неблагодарность. Пусть будут они выздоравливающими и преодолевающими и пусть создадут себе высшее тело!

Не сердится Заратустра и на выздоравливающего, когда он с нежностью взирает на свою мечту и в полночь крадется к могиле своего Бога; но болезнью и больным телом остаются для меня его слезы.

Много больного народу встречалось всегда среди тех, кто предается грезам и одержим Богом; яростно ненавидят они познающего и ту самую младшую из добродетелей, которая зовется – правдивость.

Они смотрят всегда назад, в темные времена: тогда поистине мечта и вера были другими вещами, неистовство разума было богоподобием, а сомнение грехом.

Слишком хорошо знаю я этих богоподобных: они хотят, чтобы в них верили и чтобы сомнение было грехом. Слишком хорошо знаю я также, во что сами они верят больше всего.

Поистине, не в потусторонние миры и искупительные капли крови, но в тело больше всего верят они, и на свое собственное тело смотрят они как на вещь в себе.

Но болезненной вещью является оно для них – и они охотно вышли бы из кожи вон. Поэтому они прислушиваются к проповедникам смерти и сами проповедуют потусторонние миры.

Лучше слушайтесь, братья мои, голоса здорового тела: это – более правдивый и чистый голос.

Более правдиво и чище говорит здоровое тело, совершенное и прямоугольное; и оно говорит о смысле земли. —

Так говорил Заратустра.

О презирающих тело

К презирающим тело хочу я сказать мое слово. Не переучиваться и переучивать должны они меня, но только проститься со своим собственным телом – и таким образом стать немыми.

«Я тело и душа» – так говорит ребенок. И почему не говорить, как дети?

Но пробудившийся, знающий, говорит: я – тело, только тело, и ничто больше; а душа есть только слово для чего-то в теле.

Тело – это большой разум, множество с одним сознанием, война и мир, стадо и пастырь.

Орудием твоего тела является также твой маленький разум, брат мой; ты называешь «духом» это маленькое орудие, эту игрушку твоего большого разума.

Я говоришь ты и гордишься этим словом. Но больше его – во что не хочешь ты верить – тело твое с его большим разумом: оно не говорит *Я*, но делает *Я*!

Что чувствует чувство и что познает ум – никогда не имеет в себе своей цели. Но чувство и ум хотели бы убедить тебя, что они цель всех вещей: так тщеславны они.

Орудием и игрушкой являются чувство и ум: за ними лежит еще *Само*. Само ищет также глазами чувств, оно прислушивается также ушами духа.

Само всегда прислушивается и ищет: оно сравнивает, подчиняет, завоевывает, разрушает. Оно господствует и является даже господином над *Я*.

За твоими мыслями и чувствами, брат мой, стоит более могущественный повелитель, неведомый мудрец, – он называется Само. В твоем теле он живет; он и есть твое тело.

Больше разума в твоем теле, чем в твоей высшей мудрости. И кто знает, к чему нужна твоему телу твоя высшая мудрость?

Твое Само смеется над твоим *Я* и его гордыми скачками. «Что мне эти скачки и полеты мысли? – говорит оно себе. – Окольный путь к моей цели. Я служу помочами для *Я* и суфлером его понятий».

Само говорит к *Я*: «Здесь ощущай боль!» И вот оно страдает и думает о том, как бы больше не страдать, – и для этого именно *должно* оно думать.

Само говорит к *Я*: «Здесь чувствуй радость!» И вот оно радуется и думает о том, как бы почаще радоваться, – и для этого именно *должно* оно думать.

К презиравшим тело хочу я сказать слово. То, что презирают они, не оставляют они без призора. Что же создало призор, и презрение, и ценность, и волю?

Созидающее Само создало себе призор и презрение, оно создало себе радость и горе. Созидающее тело создало себе дух как длань своей воли.

Даже в своем безумии и презрении вы, презиравшие тело, вы служите своему Само. Я говорю вам: ваше Само хочет умереть и отворачивается от жизни.

Оно уже не в силах делать то, чего оно хочет больше всего, – созидать дальше себя. Этого хочет оно больше всего, в этом вся страстность его.

Но теперь это для него слишком поздно – и вот ваше Само хочет погибнуть, вы, презиравшие тело.

Ваше Само хочет погибнуть, и потому вы стали презиравшими тело! Ибо вы уже больше не в силах созидать дальше себя.

И потому вы негодуете на жизнь и землю. Бессознательная зависть светится в косом взгляде вашего презрения.

Я не следую вашим путем, вы, презиравшие тело! Для меня вы не мост, ведущий к сверхчеловеку! —

Так говорил Заратустра.

О радостях и страстях

Брат мой, если есть у тебя добродетель и она твоя добродетель, то ты не владеешь ею сообща с другими.

Конечно, ты хочешь называть ее по имени и ласкать ее: ты хочешь подергать ее за ушко и позабавиться с нею.

И смотри! Теперь ты обладаешь ее именем сообща с народом, и сам ты с твоей добродетелью стал народом и стадом!

Лучше было бы тебе сказать: «нет слова, нет названия тому, что составляет муку и сладость моей души, а также голод утробы моей».

Пусть твоя добродетель будет слишком высока, чтобы доверить ее имени: и если ты должен говорить о ней, то не стыдись говорить лепеча.

Говори лепеча: «Это *мое* добро, каким я люблю его, каким оно всецело мне нравится, и лишь таким я хочу его.

Не потому я хочу его, чтобы было оно божественным законом, и не потому я хочу его, чтобы было оно человеческим установлением и человеческой нуждой: да не служит оно мне указателем на небо или в рай.

Только земную добродетель люблю я: в ней мало мудрости и всего меньше разума всех людей.

Но эта птица свила у меня гнездо себе, поэтому я люблю и прижимаю ее к сердцу – теперь на золотых яйцах она сидит у меня».

Так должен ты лепетать и хвалить свою добродетель.

Некогда были у тебя страсти, и ты называл их злыми. А теперь у тебя только твои добродетели: они выросли из твоих страстей.

Ты положил свою высшую цель в эти страсти: и вот они стали твоей добродетелью и твоей радостью.

И если б ты был из рода вспыльчивых, или из рода сластолюбцев, или изуверов, или людей мстительных:

Все-таки в конце концов твои страсти обратились бы в добродетели и все твои демоны – в ангелов.

Некогда были дикие псы в погребках твоих, но в конце концов обратились они в птиц и прелестных певуний.

Из своих ядов сварил ты себе бальзам свой; ты доил корову – скорбь свою, – теперь ты пьешь сладкое молоко ее вымени.

И отныне ничего злого не вырастает из тебя, кроме зла, которое вырастает из борьбы твоих добродетелей.

Брат мой, если ты счастлив, то у тебя *одна* добродетель, и не более: тогда легче проходишь ты по мосту.

Почтенно иметь много добродетелей, но это тяжелая участь, и многие шли в пустыню и убивали себя, ибо они уставали быть битвой и полем битвы добродетелей.

Брат мой, зло ли война и битвы? Однако это зло необходимо, необходимы и зависть, и недоверие, и клевета между твоими добродетелями.

Посмотри, как каждая из твоих добродетелей жаждет высшего: она хочет всего твоего духа, чтобы был он *ее* глашатаем, она хочет всей твоей силы в гневе, ненависти и любви.

Ревнива каждая добродетель в отношении другой, а ревность – ужасная вещь. Даже добродетели могут погибнуть из-за ревности.

Кого окружает пламя ревности, тот обращает наконец, подобно скорпиону, отравленное жало на самого себя.

Ах, брат мой, разве ты никогда еще не видел, как добродетель клеветает на себя и жалит самое себя?

Человек есть нечто, что должно превзойти; и оттого должен ты любить свои добродетели – ибо от них ты погибнешь. —

Так говорил Заратустра.

О бледном преступнике

Вы не хотите убивать, вы, судьи и жертвоприносители, пока животное не наклонит головы? Взгляните, бледный преступник склонил голову, из его глаз говорит великое презрение.

«Мое Я есть нечто, что должно превзойти: мое Я служит для меня великим презрением к человеку» – так говорят глаза его.

То, что он сам осудил себя, было его высшим мгновением; не допускайте, чтобы тот, кто возвысился, опять опустился в свою пропасть!

Нет спасения для того, кто так страдает от себя самого, – кроме быстрой смерти.

Ваше убийство, судьи, должно быть жалостью, а не мщением. И убивая, блюдите, чтобы сами вы оправдывали жизнь!

Недостаточно примириться с тем, кого вы убиваете. Ваша печаль да будет любовью к сверхчеловеку: так оправдаете вы свою все еще жизнь!

«Враг» должны вы говорить, а не «злодей»; «больной» должны вы говорить, а не «негодяй»; «сумасшедший» должны вы говорить, а не «грешник».

И ты, красный судья, если бы ты громко сказал все, что ты совершил уже в мыслях, каждый закричал бы: «Прочь эту скверну и этого ядовитого червя!»

Но одно – мысль, другое – дело, третье – образ дела. Между ними не вращается колесо причинности.

Образ сделал этого бледного человека бледным. На высоте своего дела был он, когда он совершал его; но он не вынес его образа, когда оно совершилось.

Всегда смотрел он на себя как на свершителя *одного* свершения. Безумием называю я это: исключение обернулось ему сущностью его.

Черта́ околдовывает курицу; чертовщина, которой он отдался, околдовывает его бедный разум – безумием *после* дела называю я это.

Слушайте, вы, судьи! Другое безумие существует еще – это безумие *перед* делом. Ах, вы вползли недостаточно глубоко в эту душу!

Так говорит красный судья: «но ради чего убил этот преступник? Он хотел ограбить».

Но я говорю вам: душа его хотела крови, а не грабежа – он жаждал счастья ножа!

Но его бедный разум не понял этого безумия и убедил его. «Что толку в крови! – говорил он. – Не хочешь ли ты по крайней мере совершить при этом грабеж? Отмстить?»

И он послушался своего бедного разума: как свинец, легла на него его речь – и вот, убивая, он ограбил. Он не хотел стыдиться своего безумия.

И теперь опять свинец его вины лежит на нем, и опять его бедный разум стал таким затекшим, таким расслабленным, таким тяжелым.

Если бы только он мог потряхнуть головою, его бремя скатилось бы вниз; но кто потряхнет эту голову?

Что такое этот человек? Куча болезней, через дух проникающих в мир: там ищут они своей добычи.

Что такое этот человек? Клубок диких змей, которые редко вместе бывают спокойны, – и вот они расползаются и ищут добычи в мире.

Взгляните на это бедное тело! Что оно выстрадало и чего страстно желало, вот что пыталась объяснить себе эта бедная душа – она объясняла это как радость убийства и алчность к счастью ножа.

Кто теперь становится больным, на того нападает зло, которое теперь считается злом: страдание хочет он причинять тем самым, что ему причиняет страдание. Но были другие времена и другое зло и добро.

Некогда были злом сомнение и воля к самому себе. Тогда становился больной еретиком и колдуном: как еретик и колдун, страдал он и хотел заставить страдать других.

Но это не вмещается в ваши уши: это вредит вашим добрым, говорите вы мне. Но что мне за дело до ваших добрых!

Многое в ваших добрых вызывает во мне отвращение, и поистине не их зло. Я хотел бы, чтобы безумие охватило их, от которого они бы погибли, как этот бледный преступник!

Поистине, я хотел бы, чтобы их безумие называлось истиной, или верностью, или справедливостью; но у них есть своя добродетель, чтобы долго жить в жалком довольстве собою.

Я – перила моста на стремительном потоке: держись за меня, кто может за меня держаться. Но вашим костылем не служу я. —

Так говорил Заратустра.

О чтении и письме

Из всего написанного люблю я только то, что пишется своей кровью. Пиши кровью – и ты узнаешь, что кровь есть дух.

Нелегко понять чужую кровь: я ненавижу читающих бездельников.

Кто знает читателя, тот ничего не делает для читателя. Еще одно столетие читателей – и дух сам будет смердеть.

То, что каждый имеет право учиться читать, портит надолго не только писание, но и мысль.

Некогда дух был Богом, потом стал человеком, а ныне становится он даже чернью.

Кто пишет кровью и притчами, тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть.

В горах кратчайший путь – с вершины на вершину; но для этого надо иметь длинные ноги. Притчи должны быть вершинами: и те, к кому говорят они, – большими и рослыми.

Воздух разреженный и чистый, опасность близкая и дух, полный радостной злобы, – все это хорошо идет одно к другому.

Я хочу, чтобы вокруг меня были кобольды, ибо мужествен я. Мужество гонит призраки, само создает себе кобольдов – мужество хочет смеяться.

Я не чувствую больше вместе с вами: эта туча, что я вижу под собой, эта чернота и тяжесть, над которыми я смеюсь, – такова ваша грозная туча.

Вы смотрите вверх, когда вы стремитесь подняться. А я смотрю вниз, ибо я поднялся.

Кто из вас может одновременно смеяться и быть высоко?

Кто поднимается на высочайшие горы, тот смеется над всякой трагедией сцены и жизни.

Беззаботными, насмешливыми, сильными – такими хочет нас мудрость: она – женщина и любит всегда только воина.

Вы говорите мне: «жизнь тяжело нести». Но к чему была бы вам ваша гордость поутру и ваша покорность вечером?

Жизнь тяжело нести; но не притворяйтесь же такими нежными! Мы все прекрасные вьючные ослы и ослицы.

Что у нас общего с розовой почкой, которая дрожит, ибо капля росы лежит у нее на теле?

Правда, мы любим жизнь, но не потому, что к жизни, а потому, что к любви мы привыкли.

В любви всегда есть немного безумия. Но и в безумии всегда есть немного разума.

И даже мне, расположенному к жизни, кажется, что мотыльки и мыльные пузыри и те, кто похож на них среди людей, больше всех знают о счастье.

Зреть, как порхают они, эти легкие вздорные ломкие бойкие душеньки, – вот что пьянит Заратустру до песен и слез.

Я бы поверил только в такого Бога, который умел бы танцевать.

И когда я увидел своего демона, я нашел его серьезным, веским, глубоким и торжественным: это был дух тяжести, благодаря ему все вещи падают на землю.

Убивают не гневом, а смехом. Вставайте, помогите нам убить дух тяжести!

Я научился ходить; с тех пор я позволяю себе бегать. Я научился летать; с тех пор я не жду толчка, чтобы сдвинуться с места.

Теперь я легок, теперь я летаю, теперь я вижу себя под собой, теперь Бог танцует во мне. —

Так говорил Заратустра.

О дереве на горе

Заратустра заметил, что один юноша избегает его. И вот однажды вечером, когда шел он один по горам, окружавшим город, названный «Пестрая корова», он встретил этого юношу сидевшим на земле, у дерева, и смотревшим усталым взором в долину. Заратустра дотронулся до дерева, у которого сидел юноша, и говорил так:

«Если б я захотел потрясти это дерево своими руками, я бы не смог этого сделать.

Но ветер, невидимый нами, терзает и гнет его, куда он хочет. Невидимые руки еще больше гнут и терзают нас».

Тогда юноша встал в смущении и сказал: «Я слышу Заратустру, я только что думал о нем». Заратустра отвечал:

«Чего же ты пугаешься? С человеком происходит то же, что и с деревом.

Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, – ко злу».

«Да, ко злу! – воскликнул юноша. – Как же возможно, что ты открыл мою душу?»

Заратустра засмеялся и сказал: «Есть души, которых никогда не откроют, разве что сперва выдумают их».

«Да, ко злу! – воскликнул юноша еще раз.

Ты сказал истину, Заратустра. Я не верю больше в себя самого, с тех пор как стремлюсь я вверх, и никто уже не верит в меня, – но как же случилось это?

Я меняюсь слишком быстро: мое сегодня опровергает мое вчера. Я часто перепрыгиваю ступени, когда поднимаюсь, – этого не прощает мне ни одна ступень.

Когда я наверху, я нахожу себя всегда одиноким. Никто не говорит со мною, холод одиночества заставляет меня дрожать. Чего же хочу я на высоте?

Мое презрение и моя тоска растут одновременно; чем выше поднимаюсь я, тем больше презираю я того, кто поднимается. Чего же хочет он на высоте?

Как стыжусь я своего восхождения и спотыкания! Как потешаюсь я над своим порывистым дыханием! Как ненавижу я летающего! Как устал я на высоте!»

Тут юноша умолк. А Заратустра посмотрел на дерево, у которого они стояли, и говорил так:

«Это дерево стоит одиноко здесь, на горе, оно выросло высоко над человеком и животным.

И если бы оно захотело говорить, не нашлось бы никого, кто бы мог понять его: так высоко выросло оно.

Теперь ждет оно и ждет, – чего же ждет оно? Оно находится слишком близко к облакам: оно ждет, вероятно, первой молнии?»

Когда Заратустра сказал это, юноша воскликнул в сильном волнении: «Да, Заратустра, ты говоришь истину. Своей гибели желал я, стремясь в высоту, и ты та молния, которой я ждал! Взгляни, что я такое, с тех пор как ты явился к нам? *Зависть* к тебе разрушила меня!» – Так говорил юноша и горько плакал. А Заратустра обнял его и увел с собою.

И когда они вместе прошли немного, Заратустра начал так говорить:

– Разрывается сердце мое. Больше, чем твои слова, твой взор говорит мне об опасности, которой ты подвергаешься.

Ты еще не свободен, ты ищешь еще свободы. Бодрствующим сделало тебя твое искание и лишило тебя сна.

В свободную высь стремишься ты, звезд жаждет твоя душа. Но твои дурные инстинкты также жаждут свободы.

Твои дикие псы хотят на свободу; они лают от радости в своем погребке, пока твой дух стремится отворить все темницы.

По-моему, ты еще заключенный в тюрьме, мечтающий о свободе; ах, мудрой становится душа у таких заключенных, но также лукавой и дурной.

Очиститься должен еще освободившийся дух. В нем еще много от тюрьмы и от затхлости: чистым должен еще стать его взор.

Да, я знаю твою опасность. Но моей любовью и надеждой заклинаю я тебя: не бросай своей любви и надежды!

Ты еще чувствуешь себя благородным, и благородным чувствуют тебя также и другие, кто не любит тебя и посылает вослед тебе злые взгляды. Знай, что у всех поперек дороги стоит благородный.

Даже для добрых стоит благородный поперек дороги; и даже когда они называют его добрым, этим хотят они устранить его с дороги.

Новое хочет создать благородный, новую добродетель. Старого хочет добрый и чтобы старое сохранилось.

Но не в том опасность для благородного, что он станет добрым, а в том, что он станет наглым, будет насмешником и разрушителем.

Ах, я знал благородных, потерявших свою высшую надежду. И теперь клеветали они на все высшие надежды.

Теперь жили они, наглые, среди мимолетных удовольствий, и едва ли цели их простирались дальше дня.

«Дух – тоже сладострастие» – так говорили они. Тогда разбились крылья у духа их: теперь ползает он всюду и грязнит все, что гложет.

Некогда мечтали они стать героями – теперь они сластолюбцы. Печаль и страх для них герой.

Но моей любовью и надеждой заклинаю я тебя: не отметай героя в своей душе! Храни свято свою высшую надежду! —

Так говорил Заратустра.

О проповедниках смерти

Есть проповедники смерти; и земля полна теми, кому нужно проповедовать отвращение к жизни.

Земля полна лишними, жизнь испорчена чрезмерным множеством людей. О если б можно было «вечной жизнью» сманить их из этой жизни!

«Желтые» или «черные» – так называют проповедников смерти. Но я хочу показать их вам еще и в других красках.

Вот они ужасные, что носят в себе хищного зверя и не имеют другого выбора, кроме как вожделение или самоумерщвление. Но и вожделение их – тоже самоумерщвление.

Они еще не стали людьми, эти ужасные; пусть же проповедуют они отвращение к жизни и сами уходят!

Вот – чахоточные душою: едва родились они, как уже начинают умирать и жаждут учений усталости и отречения.

Они охотно желали бы быть мертвыми, и мы должны одобрить их волю! Будем же остерегаться, чтобы не воскресить этих мертвых и не повредить эти живые гробы!

Повстречается ли им больной, или старик, или труп, и тотчас говорят они: «жизнь опровергнута!»

Но только они опровергнуты и их глаза, видящие только *одно* лицо в существовании.

Погруженные в глубокое уныние и алчные до маленьких случайностей, приносящих смерть, – так ждут они, стиснув зубы.

Или же: они хватаются за сласти и смеются при этом своему ребячеству; они висят на жизни, как на соломинке, и смеются, что они еще висят на соломинке.

Их мудрость гласит: «Глупец тот, кто остается жить, и мы настолько же глупы. Это и есть самое глупое в жизни!» —

«Жизнь есть только страдание» – так говорят другие и не лгут; так постарайтесь же, чтобы перестать *вам* существовать! Так постарайтесь же, чтобы кончилась жизнь, которая есть только страдание!

И да гласит правило вашей добродетели: «ты должен убить самого себя! Ты должен сам себя украсть у себя!» —

«Сладострастие есть грех, — так говорят проповедующие смерть, — дайте нам идти стороною и не рожать детей!»

«Трудно рожать, — говорят другие, — к чему еще рожать? Рождаются лишь несчастные!» И они также проповедники смерти.

«Нам нужна жалость, — так говорят третьи. — Возьмите, что есть у меня! Возьмите меня самого! Тем меньше я буду связан с жизнью!»

Если б они были совсем сострадательные, они отбили бы у своих ближних охоту к жизни. Быть злым — было бы их истинной добротою.

Но они хотят освободиться от жизни; что им за дело, что они еще крепче связывают других своими цепями и даяниями!

И даже вы, для которых жизнь есть суровый труд и беспокойство, — разве вы не очень утомлены жизнью? Разве вы еще не созрели для проповеди смерти?

Все вы, для которых дорог суровый труд и все быстрое, новое, неизвестное, — вы чувствуете себя дурно; ваша деятельность есть бегство и желание забыть самих себя.

Если бы вы больше верили в жизнь, вы бы меньше отдавались мгновению. Но чтобы ждать, в вас нет достаточно содержания, — и даже чтобы лениться!

Всюду раздается голос тех, кто проповедует смерть; и земля полна теми, кому нужно проповедовать смерть.

Или «вечную жизнь» — мне все равно, — если только они не замедлят отправиться туда!

—

Так говорил Заратустра.

О войне и воинах

Мы не хотим пощады от наших лучших врагов, а также от тех, кого мы любим до глубины души. Позвольте же мне сказать вам правду!

Братья мои по войне! Я люблю вас до глубины души; теперь и прежде я был вашим равным. И я также ваш лучший враг. Позвольте же мне сказать вам правду!

Я знаю о ненависти и зависти вашего сердца. Вы недостаточно велики, чтобы не знать ненависти и зависти. Так будьте же настолько велики, чтобы не стыдиться себя самих!

И если вы не можете быть подвижниками познания, то будьте по крайней мере его ратниками. Они спутники и предвестники этого подвижничества.

Я вижу множество солдат; как хотел бы я видеть много воинов! «Мундиром» называется то, что они носят; да не будет мундиром то, что скрывают они под ним!

Будьте такими, чей взор всегда ищет врага — *своего* врага. И у некоторых из вас сквозит ненависть с первого взгляда.

Своего врага ищите вы, свою войну ведите вы, войну за свои мысли! И если ваша мысль не устоит, все-таки ваша честность должна и над этим праздновать победу!

Любите мир как средство к новым войнам. И притом короткий мир — больше, чем долгий.

Я призываю вас не к работе, а к борьбе. Я призываю вас не к миру, а к победе. Да будет труд ваш борьбой и мир ваш победою!

Можно молчать и сидеть смирно, только когда есть стрелы и лук; иначе болтают и бранятся. Да будет ваш мир победою!

Вы говорите, что благая цель освящает даже войну? Я же говорю вам, что благо войны освящает всякую цель.

Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Не ваша жалость, а ваша храбрость спасала доселе несчастных.

Что хорошо? – спрашиваете вы. Хорошо быть храбрым. Предоставьте маленьким девочкам говорить: «быть добрым – вот что мило и в то же время трогательно».

Вас называют бессердечными – но ваше сердце неподдельно, и я люблю стыдливость вашей сердечности. Вы стыдитесь прилива ваших чувств, а другие стыдятся их отлива.

Вы безобразны? Ну что ж, братья мои! Окутайте себя возвышенным, этой мантией безобразного!

И когда ваша душа становится большой, она становится высокомерной; и в вашей возвышенности есть злоба. Я знаю вас.

В злобе встречается высокомерный со слабым. Но они не понимают друг друга. Я знаю вас.

Враги у вас должны быть только такие, которых бы вы ненавидели, а не такие, чтобы их презирать. Надо, чтобы вы гордились своим врагом: тогда успехи вашего врага будут и вашими успехами.

Восстание – это доблесть раба. Вашей доблестью да будет повиновение! Само приказание ваше да будет повиновением!

Для хорошего воина «ты должен» звучит приятнее, чем «я хочу». И все, что вы любите, вы должны сперва приказать себе.

Ваша любовь к жизни да будет любовью к вашей высшей надежде – а этой высшей надеждой пусть будет высшая мысль о жизни!

Но ваша высшая мысль должна быть вам приказана мною – и она гласит: человек есть нечто, что должно превзойти.

Итак, живите своей жизнью повиновения и войны! Что пользы в долгой жизни! Какой воин хочет, чтобы щадили его!

Я не щажу вас, я люблю вас всем сердцем, братья по войне! —

Так говорил Заратустра.

О новом кумире

Кое-где существуют еще народы и стада, но не у нас, братья мои: у нас есть государства.

Государство? Что это такое? Итак, слушайте меня, ибо теперь я скажу вам свое слово о смерти народов.

Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжет оно; и эта ложь ползет из уст его: «Я, государство, есмь народ».

Это – ложь! Созидателями были те, кто создали народы и дали им веру и любовь: так служили они жизни.

Разрушители – это те, кто ставит ловушки для многих и называет их государством: они навесили им меч и навязали им сотни желаний.

Где еще существует народ, не понимает он государства и ненавидит его, как дурной глаз и нарушение обычаев и прав.

Это знамение даю я вам: каждый народ говорит на своем языке о добре и зле – этого языка не понимает сосед. Свой язык обрел он себе в обычаях и правах.

Но государство лжет на всех языках о добре и зле: и что оно говорит, оно лжет – и что есть у него, оно украло.

Все в нем поддельно: краденными зубами кусает оно, зубастое. Поддельна даже утроба его.

Смешение языков в добре и зле: это знамение даю я вам как знамение государства. Поистине, волю к смерти означает это знамение! Поистине, оно подмигивает проповедникам смерти!

Рождается слишком много людей: для лишних изобретено государство!

Смотрите, как оно их привлекает к себе, это многое множество! Как оно их душит, жует и пережевывает!

«На земле нет ничего больше меня: я упорядочивающий перст Божий» – так рычит чудовище. И не только длинноухие и близорукие опускаются на колени!

Ах, даже вам, великие души, нашептывает оно свою мрачную ложь! Ах, оно угадывает богатые сердца, охотно себя расточающие!

Да, даже вас угадывает оно, вы, победители старого Бога! Вы устали в борьбе, и теперь ваша усталость служит новому кумиру!

Героев и честных людей хотел бы он уставить вокруг себя, новый кумир! Оно любит греться в солнечном сиянии чистой совести, – холодное чудовище!

Все готов дать *вам*, если *вы* поклонитесь ему, новый кумир: так покупает он себе блеск вашей добродетели и взор ваших гордых очей.

Приманить хочет он вас, вы, многое множество! И вот изобретена была адская штука, конь смерти, бряцающий сбруей божеских почестей!

Да, изобретена была смерть для многих, но она прославляет самое себя как жизнь: поистине, сердечная услуга всем проповедникам смерти!

Государством зову я, где все вместе пьют яд, хорошие и дурные; государством, где все теряют самих себя, хорошие и дурные; государством, где медленное самоубийство всех – называется – «жизнь».

Посмотрите же на этих лишних людей! Они крадут произведения изобретателей и сокровища мудрецов: культурой называют они свою кражу – и все обращается у них в болезнь и беду!

Посмотрите же на этих лишних людей! Они всегда больны, они выbleвывают свою желчь и называют это газетой. Они проглатывают друг друга и никогда не могут переварить себя.

Посмотрите же на этих лишних людей! Богатства приобретают они и делаются от этого беднее. Власти хотят они, и прежде всего рычага власти, много денег, – эти немощные!

Посмотрите, как лезут они, эти проворные обезьяны! Они лезут друг на друга и потому срываются в грязь и в пропасть.

Все они хотят достичь трона: безумие их в том – будто счастье восседало бы на троне! Часто грязь восседает на троне – а часто и трон на грязи.

По-моему, все они безумцы, карабкающиеся обезьяны и находящиеся в бреду. По-моему, дурным запахом несет от их кумира, холодного чудовища; по-моему, дурным запахом несет от всех этих служителей кумира.

Братья мои, разве хотите вы задохнуться в чаду их пастей и вожделений! Скорее разбейте окна и прыгайте вон!

Избегайте же дурного запаха! Сторонитесь идолопоклонства лишних людей!

Избегайте же дурного запаха! Сторонитесь дыма этих человеческих жертв!

Свободною стоит для великих душ и теперь еще земля. Свободных много еще мест для одиноких и для тех, кто одиночеству вдвоем, где веет благоухание тихих морей.

Еще свободной стоит для великих душ свободная жизнь. Поистине, кто обладает малым, тот будет тем меньше обладаем: хвала малой бедности!

Там, где кончается государство, и начинается человек, не являющийся лишним: там начинается песнь необходимых, мелодия, единожды существующая и невозвратная.

Туда, где *кончается* государство, – туда смотрите, братья мои! Разве вы не видите радугу и мосты, ведущие к сверхчеловеку? —

Так говорил Заратустра.

О базарных мухах

Беги, мой друг, в свое уединение! Я вижу, ты оглушен шумом великих людей и исколот жалами маленьких.

С достоинством умеют лес и скалы хранить молчание вместе с тобою. Опять уподобься твоему любимому дереву с раскинутыми ветвями: тихо, прислушиваясь, склонилось оно над морем.

Где кончается уединение, там начинается базар; и где начинается базар, начинается и шум великих комедиантов, и жужжанье ядовитых мух.

В мире самые лучшие вещи ничего еще не стоят, если никто не представляет их; великими людьми называет народ этих представителей.

Плохо понимает народ великое, т. е. творящее. Но любит он всех представителей и актеров великого.

Вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир – незримо вращается он. Но вокруг комедиантов вращается народ и слава – таков порядок мира.

У комедианта есть дух, но мало совести духа. Всегда верит он в то, чем он заставляет верить сильнее всего, – верить в *себя самого!*

Завтра у него новая вера, а послезавтра – еще более новая. Чувства его быстры, как народ, и настроения переменчивы.

Опрокинуть – называется у него: доказать. Сделать сумасшедшим – называется у него: убедить. А кровь для него лучшее из всех оснований.

Истину, проскальзывающую только в тонкие уши, называет он ложью и ничем. Поистине, он верит только в таких богов, которые производят в мире много шума!

Базар полон праздничными скоморохами – и народ хвалится своими великими людьми! Для него они – господа минуты.

Но минута настойчиво торопит их: оттого и они торопят тебя. И от тебя хотят они услышать Да или Нет. Горе, ты хочешь сесть между двух стульев?

Не завидуй этим безусловным, настойчиво торопящим, ты, любитель истины! Никогда еще истина не повисала на руке безусловного.

От этих стремительных удались в безопасность: лишь на базаре нападают с вопросом: да или нет?

Медленно течет жизнь всех глубоких родников: долго должны они ждать, прежде чем узнают, что упало в их глубину.

В сторону от базара и славы уходит все великое: в стороне от базара и славы жили издавна изобретатели новых ценностей.

Беги, мой друг, в свое уединение: я вижу тебя искусанным ядовитыми мухами. Беги туда, где веет суровый, свежий воздух!

Беги в свое уединение! Ты жил слишком близко к маленьким, жалким людям. Беги от их невидимого мщения! В отношении тебя они только мщение.

Не поднимай руки против них! Они – бесчисленны, и не твое назначение быть махалкой от мух.

Бесчисленны эти маленькие, жалкие люди; и не одному уже гордому зданию дождевые капли и плевелы послужили к гибели.

Ты не камень, но ты стал уже впалым от множества капель. Ты будешь еще изломан и растрескаешься от множества капель.

Усталым вижу я тебя от ядовитых мух, исцарапанным в кровь вижу я тебя в сотнях мест; и твоя гордость не хочет даже возмущаться.

Крови твоей хотели бы они при всей невинности, крови жаждут их бескровные души – и потому они кусают со всей невинностью.

Но ты глубокий, ты страдаешь слишком глубоко даже от малых ран; и прежде чем ты излечивался, такой же ядовитый червь уже полз по твоей руке.

Ты кажешься мне слишком гордым, чтобы убивать этих лакомок. Но берегись, чтобы не стало твоим назначением выносить их ядовитое насилие!

Они жужжат вокруг тебя со своей похвалой: навязчивость – их похвала. Они хотят близости твоей кожи и твоей крови.

Они льстят тебе, как богу или дьяволу; они визжат перед тобою, как перед богом или дьяволом. Ну что ж! Они – льстецы и визгуны, и ничего более.

Также бывают они часто любезны с тобою. Но это всегда было хитростью трусливых. Да, трусы хитры!

Они много думают о тебе своей узкой душою – подозрительным кажешься ты им всегда! Все, о чем много думают, становится подозрительным.

Они наказывают тебя за все твои добродетели. Они вполне прощают тебе только – твои ошибки.

Потому что ты кроток и справедлив, ты говоришь: «Невиновны они в своем маленьком существовании». Но их узкая душа думает: «Виновно всякое великое существование».

Даже когда ты снисходителен к ним, они все-таки чувствуют, что ты презираешь их; и они возвращают тебе твое благоденствие скрытыми злодеяниями.

Твоя гордость без слов всегда противоречит их вкусу; они громко радуются, когда ты бываешь достаточно скромным, чтобы быть тщеславным.

То, что мы узнаем в человеке, воспламеняем мы в нем. Остерегайся же маленьких людей!

Перед тобою чувствуют они себя маленькими, и их низость тлеет и разгорается против тебя в невидимое мщение.

Разве ты не замечал, как часто умолкали они, когда ты подходил к ним, и как сила их покидала их, как дым покидает угасающий огонь?

Да, мой друг, укором совести являешься ты для своих ближних: ибо они недостойны тебя. И они ненавидят тебя и охотно сосали бы твою кровь.

Твои ближние будут всегда ядовитыми мухами; то, что есть в тебе великого, – должно делать их еще более ядовитыми и еще более похожими на мух.

Беги, мой друг, в свое уединение, туда, где веет суровый, свежий воздух! Не твое назначение быть махалкой от мух. —

Так говорил Заратустра.

О целомудрии

Я люблю лес. В городах трудно жить: там слишком много похотливых людей.

Не лучше ли попасть в руки убийцы, чем в мечты похотливой женщины?

И посмотрите на этих мужчин: их глаза говорят – они не знают ничего лучшего на земле, как лежать с женщиной.

Грязь на дне их души; и горе, если у грязи их есть еще дух!

О, если бы вы совершенны были, по крайней мере как звери! Но зверям принадлежит невинность.

Разве я советую вам убивать свои чувства? Я советую вам невинность чувств.

Разве целомудрие я советую вам? У иных целомудрие есть добродетель, но у многих почти что порок.

Они, быть может, воздерживаются – но сука-чувственность проглядывает с завистью во всем, что они делают.

Даже до высот их добродетели и вплоть до сурового духа их следует за ними это животное и его смута.

И как ловко умеет сука-чувственность молить о куске духа, когда ей отказывают в куске тела!

Вы любите трагедии и все, что раздирает сердце? Но я отношусь недоверчиво к вашей суке.

У вас слишком жестокие глаза, и вы похотливо смотрите на страдающих. Не переделось ли только ваше сладострастие и теперь называется состраданием!

И это знамение даю я вам: многие желавшие изгнать своего дьявола сами вошли при этом в свиней.

Кому тягостно целомудрие, тому надо его отсоветовать: чтобы не сделалось оно путем в преисподнюю, т. е. грязью и похотью души.

Разве я говорю о грязных вещах? По-моему, это не есть еще худшее.

Познающий не любит погружаться в воду истины не тогда, когда она грязна, но когда она мелкая.

Поистине, есть целомудренные до глубины души: они более кротки сердцем, они смеются охотнее и больше, чем вы.

Они смеются также и над целомудрием и спрашивают: «Что такое целомудрие?

Целомудрие не есть ли безумие? Но это безумие пришло к нам, а не мы к нему.

Мы предложили этому гостю приют и сердце: теперь он живет у нас – пусть остается сколько хочет!» —

Так говорил Заратустра.

О друге

«Всегда быть одному слишком много для меня» – так думает отшельник. «Всегда один и один – это дает со временем двух».

Я и меня всегда слишком усердствуют в разговоре; как вынести это, если бы не было друга?

Всегда для отшельника друг является третьим: третий – это пробка, мешающая разговору двух опуститься в бездонную глубь.

Ах, существует слишком много бездонных глубин для всех отшельников! Поэтому так страстно жаждут они друга и высоты его.

Наша вера в других выдает, где мы охотно хотели бы верить в самих себя. Наша тоска по другу является нашим предателем.

И часто с помощью любви хотят лишь перескочить через зависть. Часто нападают и создают себе врагов, чтобы скрыть, что и на тебя могут напасть.

«Будь хотя бы моим врагом!» – так говорит истинное почитание, которое не осмеливается просить о дружбе.

Если ты хочешь иметь друга, ты должен вести войну за него; а чтобы вести войну, надо *уметь* быть врагом.

Ты должен в своем друге уважать еще врага. Разве ты можешь близко подойти к своему другу и не перейти к нему?

В своем друге ты должен иметь своего лучшего врага. Ты должен быть к нему ближе всего сердцем, когда ты противишься ему.

Ты не хочешь перед другом своим носить одежды? Для твоего друга должно быть честью, что ты даешь ему себя, каков ты есть? Но он за это посылает тебя к черту!

Кто не скрывает себя, возмущает этим других: так много имеете вы оснований бояться наготы! Да, если бы вы были богами, вы могли бы стыдиться своих одежд!

Ты не можешь для своего друга достаточно хорошо нарядиться: ибо ты должен быть для него стрелою и тоскою по сверхчеловеку.

Видел ли ты своего друга спящим, чтобы знать, как он выглядит? Что такое лицо твоего друга? Оно – твое собственное лицо на грубом, несовершенном зеркале.

Видел ли ты своего друга спящим? Испугался ли ты, что так выглядит твой друг? О мой друг, человек есть нечто, что должно превзойти.

Мастером в угадывании и молчании должен быть друг: не всего следует тебе домогаться взглядом. Твой сон должен выдать тебе, что делает твой друг, когда бодрствует.

Пусть будет твое сострадание угадыванием: ты должен сперва узнать, хочет ли твой друг сострадания. Быть может, он любит в тебе несокрушенный взор и взгляд вечности.

Пусть будет сострадание к другу сокрыто под твердой корой, на ней должен ты изгрызть себе зубы. Тогда оно будет иметь свою тонкость и сладость.

Являешься ли ты чистым воздухом, и одиночеством, и хлебом, и лекарством для своего друга? Иной не может избавиться от своих собственных цепей, но является избавителем для друга.

Не раб ли ты? Тогда ты не можешь быть другом. Не тиран ли ты? Тогда ты не можешь иметь друзей.

Слишком долго в женщине были скрыты раб и тиран. Поэтому женщина не способна еще к дружбе: она знает только любовь.

В любви женщины есть несправедливость и слепота ко всему, чего она не любит. Но и в знаемой любви женщины есть всегда еще внезапность, и молния, и ночь рядом со светом.

Еще не способна женщина к дружбе: женщины все еще кошки и птицы. Или, в лучшем случае, коровы.

Еще не способна женщина к дружбе. Но скажите мне вы, мужчины, кто же среди вас способен к дружбе?

О мужчины, ваша бедность и ваша скупость души! Сколько даете вы другу, столько даю я даже своему врагу и не становлюсь от того беднее.

Существует товарищество; пусть будет и дружба! —

Так говорил Заратустра.

О тысяче и одной цели

Много стран видел Заратустра и много народов – так открыл он добро и зло многих народов. Больше власти не нашел Заратустра на земле, чем добро и зло.

Ни один народ не мог бы жить, не сделав сперва оценки; если хочет он сохранить себя, он не должен оценивать так, как оценивает сосед.

Многое, что у одного народа называлось добром, у другого называлось глумлением и позором – так нашел я. Многое, что нашел я, здесь называлось злом, а там украшалось пурпурной мантией почести.

Никогда один сосед не понимал другого: всегда удивлялась душа его безумству и злобе соседа.

Скрижаль добра висит над каждым народом. Взгляни, это скрижаль преодолений его; взгляни, это голос воли его к власти.

Похвально то, что кажется ему трудным; все неизбежное и трудное называет он добром; а то, что еще освобождает от величайшей нужды, – редкое и самое трудное – зовет он священным.

Все способствующее тому, что он господствует, побеждает и блесит на страх и зависть своему соседу, – все это означает для него высоту, начало, мерило и смысл всех вещей.

Поистине, брат мой, если узнал ты потребность народа, и страну, и небо, и соседа его, ты, несомненно, угадал и закон его преодолений, и почему он восходит по этой лестнице к своей надежде.

«Всегда ты должен быть первым и стоять впереди других; никого не должна любить твоя ревнивая душа, кроме друга» – слова эти заставляли дрожать душу грека; и шел он своей стезею величия.

«Говорить правду и хорошо владеть луком и стрелой» казалось в одно и то же время и мило и тяжело тому народу, от которого идет имя мое, – имя, которое для меня в одно и то же время и мило и тяжело.

«Чтить отца и мать и до глубины души служить воле их» – эту скрижаль преодоления навесил на себя другой народ и стал чрез это могучим и вечным.

«Соблюдать верность и ради верности полагать честь и кровь даже на дурные и опасные дела» – так, поучаясь, преодолевал себя другой народ, и, так преодолевая себя, стал он чреват великими надеждами.

Поистине, люди дали себе все добро и все зло свое. Поистине, они не заимствовали и не находили его, оно не упало к ним, как глас с небес.

Человек сперва вкладывал ценности в вещи, чтобы сохранить себя, – он создал сперва смысл вещам, человеческий смысл! Поэтому называет он себя «человеком», т. е. оценивающим.

Оценивать – значит созидать: слушайте, вы, созидающие! Оценивать – это драгоценность и жемчужина всех оцененных вещей.

Через оценку впервые является ценность; и без оценки был бы пуст орех бытия. Слушайте, вы, созидающие!

Перемена ценностей – это перемена созидающих. Постоянно уничтожает тот, кто должен быть созидателем.

Созидающими были сперва народы и лишь позднее отдельные личности; поистине, сама отдельная личность есть еще самое юное из творений.

Народы некогда навесили на себя скрижаль добра. Любовь, желающая господствовать, и любовь, желающая повиноваться, вместе создали себе эти скрижали.

Тяга к стаду старше происхождением, чем тяга к Я; и покуда чистая совесть именуется стадом, лишь нечистая совесть говорит: Я.

Поистине, лукавое Я лишенное любви, ищущее своей пользы в пользе многих, – это не начало стада, а гибель его.

Любящие были всегда и созидающими, они создали добро и зло. Огонь любви и огонь гнева горит на именах всех добродетелей.

Много стран видел Заратустра и много народов; большей власти не нашел Заратустра на земле, чем дела любящих: «добро» и «зло» – имя их.

Поистине, чудовищем является власть этих похвал и этой хулы. Скажите, братья, кто победит его мне? Скажите, кто набросит этому зверю цепь на тысячу голов?

Тысяча целей существовала до сих пор, ибо существовала тысяча народов. Недостает еще только цепи для тысячи голов, недостает единой цели. Еще у человечества нет цели.

Но скажите же мне, братья мои: если человечеству недостает еще цели, то, быть может, недостает еще и его самого? —

Так говорил Заратустра.

О любви к ближнему

Вы жметесь к ближнему, и для этого есть у вас прекрасные слова. Но я говорю вам: ваша любовь к ближнему есть ваша дурная любовь к самим себе.

Вы бежите к ближнему от самих себя и хотели бы из этого сделать себе добродетель; но я насквозь вижу ваше «бескорыстие».

Ты старше, чем *Я*; *Ты* признано священным, но еще не *Я*: оттого жметесь человек к ближнему.

Разве я советую вам любовь к ближнему? Скорее я советую вам бежать от ближнего и любить дальнего!

Выше любви к ближнему стоит любовь к дальнему и будущему; выше еще, чем любовь к человеку, ставлю я любовь к вещам и призракам.

Этот призрак, витающий перед тобою, брат мой, прекраснее тебя; почему же не отдаешь ты ему свою плоть и свои кости? Но ты страшишься и бежишь к своему ближнему.

Вы не выносите самих себя и недостаточно себя любите, и вот вы хотели бы соблазнить ближнего на любовь и позолотить себя его заблуждением.

Я хотел бы, чтобы все ближние и соседи их стали для вас невыносимы; тогда вы должны бы были из самих себя создать своего друга с переполненным сердцем его.

Вы приглашаете свидетеля, когда хотите хвалить себя; и когда вы склонили его хорошо думать о вас, сами вы хорошо думаете о себе.

Лжет не только тот, кто говорит вопреки своему знанию, но еще больше тот, кто говорит вопреки своему незнанию. Именно так говорите вы о себе при общении с другими и обманываете соседа насчет себя.

Так говорит глупец: «Общение с людьми портит характер, особенно когда нет его».

Один идет к ближнему, потому что он ищет себя, а другой – потому что он хотел бы потерять себя. Ваша дурная любовь к самим себе делает для вас из одиночества тюрьму.

Дальние оплачивают вашу любовь к ближнему; и если вы соберетесь впятером, шестой должен всегда умереть.

Я не люблю ваших празднеств; слишком много лицедеев находил я там, и даже зрители вели себя часто как лицедеи.

Не о ближнем учу я вас, но о друге. Пусть друг будет для вас праздником земли и предчувствием сверхчеловека.

Я учу вас о друге и переполненном сердце его. Но надо уметь быть губкою, если хочешь быть любимым переполненными сердцами.

Я учу вас о друге, в котором мир предстоит завершенным, как чаша добра, – о созидающем друге, всегда готовом подарить завершенный мир.

И как мир развернулся для него, так опять он свертывается вместе с ним, подобно становлению добра и зла, подобно становлению цели из случая.

Будущее и самое дальнее пусть будет причиною твоего сегодня: в своем друге ты должен любить сверхчеловека как свою причину.

Братья мои, не любовь к ближнему советую я вам – я советую вам любовь к дальнему.

—
Так говорил Заратустра.

О пути созидającego

Ты хочешь, брат мой, идти в уединение? Ты хочешь искать дороги к самому себе? Помедли еще немного и выслушай меня.

«Кто ищет, легко сам теряется. Всякое уединение есть грех» – так говорит стадо. И ты долго принадлежал к стаду.

Голос стада будет звучать еще и в тебе! И когда ты скажешь: «У меня уже не *одна* совесть с вами», – это будет жалобой и страданием.

Смотри, само это страдание породила еще *единая* совесть: и последнее мерцание этой совести горит еще на твоей печали.

Но ты хочешь следовать голосу своей печали, который есть путь к самому себе? Покажи же мне на это свое право и свою силу!

Являешь ли ты собой новую силу и новое право? Начальное движение? Самокатящееся колесо? Можешь ли ты заставить звезды вращаться вокруг себя?

Ах, так много вожделеющих о высоте! Так много видишь судорог честолюбия! Докажи мне, что ты не из вожделеющих и не из честолюбцев!

Ах, как много есть великих мыслей, от которых проку не более чем от воздуходувки: они надувают и делают еще более пустым.

Свободным называешь ты себя? Твою господствующую мысль хочу я слышать, а не то, что ты сбросил ярмо с себя.

Из тех ли ты, что *имеют право* сбросить ярмо с себя? Таких не мало, которые потеряли свою последнюю ценность, когда освободились от рабства.

Свободный от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но твой ясный взор должен повести мне: свободный *для чего?*

Можешь ли ты дать себе свое добро и свое зло и навесить на себя свою волю, как закон? Можешь ли ты быть сам своим судьей и мстителем своего закона?

Ужасно быть лицом к лицу с судьей и мстителем собственного закона. Так бывает брошена звезда в пустое пространство и в ледяное дыхание одиночества.

Сегодня еще страдаешь ты от множества, ты, одинокий: сегодня еще есть у тебя все твое мужество и твои надежды.

Но когда-нибудь ты устанешь от одиночества, когда-нибудь гордость твоя согнется и твое мужество поколеблется. Когда-нибудь ты воскликнешь: «Я одинок!»

Когда-нибудь ты не увидишь более своей высоты, а твое низменное будет слишком близко к тебе; твое возвышенное будет даже путать тебя, как призрак. Когда-нибудь ты воскликнешь: «Все – ложь!»

Есть чувства, которые грозят убить одинокого; если это им не удастся, они должны сами умереть! Но способен ли ты быть убийцею?

Знаешь ли ты, брат мой, уже слово «презрение»? И муку твоей справедливости – быть справедливым к тем, кто тебя презирает?

Ты принуждаешь многих переменить о тебе мнение – это ставят они тебе в большую вину. Ты близко подходил к ним и все-таки прошел мимо – этого они никогда не простят тебе.

Ты стал выше их; но чем выше ты подымаешься, тем меньшим кажешься ты в глазах зависти. Но больше всех ненавидят того, кто летает.

«Каким образом хотели вы быть ко мне справедливыми! – должен ты говорить. – Я избираю для себя вашу несправедливость как предназначенный мне удел».

Несправедливость и грязь бросают они вослед одинокому; но, брат мой, если хочешь ты быть звездой, ты должен светить им, несмотря ни на что!

И остерегайся добрых и праведных! Они любят распинать тех, кто изобретает для себя свою собственную добродетель, – они ненавидят одинокого.

Остерегайся также святой простоты! Все для нее нечестиво, что не просто; она любит играть с огнем – костров.

И остерегайся также приступов своей любви! Слишком скоро протягивает одинокий руку тому, кто с ним повстречается.

Иному ты должен подать не руку, а только лапу – и я хочу, чтобы у твоей лапы были когти.

Но самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь всегда ты сам; ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах.

Одиноким, ты идешь дорогою к самому себе! И твоя дорога идет впереди тебя самого и твоих семи дьяволов!

Ты будешь сам для себя и еретиком, и колдуном, и прорицателем, и глупцом, и скептиком, и нечестивцем, и злодеем.

Надо, чтобы ты сжег себя в своем собственном пламени: как же мог бы ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом!

Одиноким, ты идешь путем созидającego: Бога хочешь ты себе создать из своих семи дьяволов!

Одиноким, ты идешь путем любящего: самого себя любишь ты и потому презираешь ты себя, как презирают только любящие.

Созидать хочет любящий, ибо он презирает! Что знает о любви тот, кто не должен был презирать именно то, что любил он!

Со своей любовью и своим созиданием иди в свое уединение, брат мой, и только позднее, прихрамывая, последует за тобой справедливость.

С моими слезами иди в свое уединение, брат мой. Я люблю того, кто хочет созидать дальше самого себя и так погибает. —

Так говорил Заратустра.

О старых и молодых бабенках

«Отчего крадешься ты так робко в сумерках, о Заратустра? И что прячешь ты бережно под своим плащом?

Не сокровище ли, подаренное тебе? Или новорожденное дитя твое? Или теперь ты сам идешь по пути воров, ты, друг злых?» —

– Поистине, брат мой! – отвечал Заратустра. – Это – сокровище, подаренное мне: это маленькая истина, что несу я.

Но она беспокойна, как малое дитя; и если бы я не зажимал ей рта, она кричала бы во все горло.

Когда сегодня я шел один своею дорогой, в час, когда солнце садится, мне повстречалась старушка и так говорила к душе моей:

«О многом уже говорил Заратустра даже нам, женщинам, но никогда не говорил он нам о женщине».

И я возразил ей: «О женщине надо говорить только мужчинам».

«И мне также ты можешь говорить о женщине, – сказала она, – я достаточно стара, чтобы тотчас все позабыть».

И я внял просьбе старушки и так говорил ей:

Все в женщине – загадка, и все в женщине имеет одну разгадку: она называется беременностью.

Мужчина для женщины средство; целью бывает всегда ребенок. Но что же женщина для мужчины?

Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому хочет он женщины как самой опасной игрушки.

Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина – для отдохновения воина; все остальное – глупость.

Слишком сладких плодов не любит воин. Поэтому любит он женщину; в самой сладкой женщине есть еще горькое.

Лучше мужчины понимает женщина детей, но мужчина больше ребенок, чем женщина.

В настоящем мужчине сокрыто дитя, которое хочет играть. Ну-ка, женщины, найдите дитя в мужчине!

Пусть женщина будет игрушкой, чистой и лучистой, как алмаз, сияющей добродетелями еще не существующего мира.

Пусть луч звезды сияет в вашей любви! Пусть вашей надеждой будет: «о, если бы мне родить сверхчеловека!»

Пусть в вашей любви будет храбрость! Своею любовью должны вы наступать на того, кто внушает вам страх.

Пусть в вашей любви будет ваша честь! Вообще женщина мало понимает в чести. Но пусть будет ваша честь в том, чтобы всегда больше любить, чем быть любимой, и никогда не быть второй.

Пусть мужчина боится женщины, когда она любит: ибо она приносит любую жертву и всякая другая вещь не имеет для нее цены.

Пусть мужчина боится женщины, когда она ненавидит: ибо мужчина в глубине души только зол, а женщина еще дурна.

Кого ненавидит женщина больше всего? – Так говорило железо магниту: «Я ненавижу тебя больше всего, потому что ты притягиваешь, но недостаточно силен, чтобы перетянуть к себе».

Счастье мужчины называется: я хочу. Счастье женщины называется: он хочет.

«Смотри, теперь только стал мир совершенен!» – так думает каждая женщина, когда она повинуется от всей любви.

И повиноваться должна женщина, и найти глубину к своей поверхности. Поверхность – душа женщины, подвижная, бурливая пленка на мелкой воде.

Но душа мужчины глубока, ее бурный поток шумит в подземных пещерах; женщина чует его силу, но не понимает ее. —

Тогда возразила мне старушка: «Много любезного сказал Заратустра, и особенно для тех, кто достаточно молод для этого.

Странно, Заратустра знает мало женщин, и, однако, он прав относительно их. Не потому ли это происходит, что у женщины нет ничего невозможного?

А теперь в благодарность прими маленькую истину! Я достаточно стара для нее!

Заверни ее хорошенько и зажми ей рот: иначе она будет кричать во все горло, эта маленькая истина».

«Дай мне, женщина, твою маленькую истину!» – сказал я. И так говорила старушка:

«Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!» —

Так говорил Заратустра.

Об укусе змеи

Однажды Заратустра заснул под смоковницей, ибо было жарко, и положил руку на лицо свое. Но приползла змея и укусила его в шею, так что Заратустра вскрикнул от боли. Отняв руку от лица, он посмотрел на змею; тогда узнала она глаза Заратустры, неуклюже отвернулась и хотела уползти. «Погоди, – сказал Заратустра, – я еще не поблагодарил тебя! Ты разбудила меня кстати, мой путь еще долог». «Твой путь уже короток, – ответила печально змея, – мой яд убивает». Заратустра улыбнулся. «Когда же дракон умирал от яда змеи? – сказал он. – Но возьми обратно свой яд! Ты недостаточно богата, чтобы дарить мне его». Тогда змея снова обвилась вокруг его шеи и начала лизать его рану.

Когда Заратустра однажды рассказал это ученикам своим, они спросили: «В чем же мораль рассказа твоего, о Заратустра?» Заратустра так отвечал на это:

– Разрушителем морали называют меня добрые и праведные: мой рассказ неморален.

Если есть враг у вас, не платите ему за зло добром: ибо это пристыдило бы его. Напротив, докажите ему, что он сделал для вас нечто доброе.

И лучше сердитесь, но не стыдите! И когда проклинаят вас, мне не нравится, что вы хотите благословить проклиняющих. Лучше прокляните и вы немного!

И если случилась с вами большая несправедливость, скорей сделайте пять малых несправедливостей! Ужасно смотреть, когда кого-нибудь одного давит несправедливость.

Разве вы уже знали это? Разделенная с другими несправедливость есть уже половина справедливости. И тот должен взять на себя несправедливость, кто может нести ее!

Маленькое мщение более человечно, чем отсутствие всякой мести. И если наказание не есть также право и честь для нарушителя, то я не хочу ваших наказаний.

Благороднее считать себя неправым, чем оказаться правым, особенно если ты прав. Только для этого надо быть достаточно богатым.

Я не люблю вашей холодной справедливости; во взоре ваших судей видится мне всегда палач и его холодный нож.

Скажите, где находится справедливость, которая есть любовь с ясновидящими глазами?

Найдите же мне любовь, которая несет не только всякое наказание, но и всякую вину!

Найдите же мне справедливость, которая оправдывает всякого, кроме того, кто судит!

Хотите ли вы слышать еще и это? У того, кто хочет быть совсем справедливым, даже ложь обращается в любовь к человеку.

Но как мог бы я быть совсем справедливым! Как мог бы я каждому воздать свое! С меня достаточно, если каждому отдаю я мое.

Наконец, братья мои, остерегайтесь быть несправедливыми к отшельникам! Как мог бы отшельник забыть! Как мог бы он отплатить!

На глубокий родник похож отшельник. Легко бросить камень в него; но если упал он на самое дно, скажите, кто захочет снова достать его?

Остерегайтесь обидеть отшельника! Но если вы это сделали, то уж и убейте его! —

Так говорил Заратустра.

О ребенке и браке

Есть у меня вопрос к тебе, брат мой; точно некий лот, бросаю я этот вопрос в твою душу, чтобы знать, как глубока она.

Ты молод и желаешь ребенка и брака. Но я спрашиваю тебя: настолько ли ты человек, чтобы *иметь право* желать ребенка?

Победитель ли ты, преодолел ли ты себя самого, повелитель ли чувств, господин ли своих добродетелей? Так спрашиваю я тебя.

Или в твоём желании говорят зверь и потребность? Или одиночество? Или разлад с самим собою?

Я хочу, чтобы твоя победа и твоя свобода страстно желали ребенка. Живые памятники должен ты строить своей победе и своему освобождению.

Дальше себя должен ты строить. Но сперва ты должен сам быть построен прямо-угольно в отношении тела и души.

Не только вширь должен ты расти, но и ввысь! Да поможет тебе в этом сад супружества!

Высшее тело должен ты создать, начальное движение, самокатящееся колесо – созидającego должен ты создать.

Брак – так называю я волю двух создать одного, который больше создавших его. Глубокое уважение друг перед другом называю я браком, как перед хотящими одной и той же воли.

Да будет это смыслом и правдой твоего брака. Но то, что называют браком многое множество, эти лишние, – ах, как назову я его?

Ах, эта бедность души вдвоем! Ах, эта грязь души вдвоем! Ах, это жалкое довольство собою вдвоем!

Браком называют они все это; и они говорят, будто браки их заключены на небе.

Ну что ж, я не хочу этого неба лишних людей! Нет, не надо мне их, этих спутанных небесною сетью зверей!

Пусть подальше останется от меня Бог, который, прихрамывая, идет благословлять то, чего он не соединял!

Не смейтесь над этими браками! У какого ребенка нет оснований плакать из-за своих родителей?

Достойным казался мне этот человек и созревшим для смысла земли; но когда я увидел его жену, земля показалась мне домом для умалишенных.

Да, я хотел бы, чтобы земля дрожала в судорогах, когда святой сочетается с гусыней.

Один вышел, как герой, искать истины, а в конце добыл он себе маленькую наряженную ложь. Своим браком называет он это.

Другой был требователен в общении и разборчив в выборе. Но одним разом испортил он на все разы свое общество: своим браком называет он это.

Третий искал служанки с добродетелями ангела. Но одним разом стал он служанкою женщины, и теперь ему самому надо бы стать ангелом.

Осторожными находил я всех покупателей, и у всех у них были хитрые глаза. Но жену себе даже хитрейший из них умудряется купить в мешке.

Много коротких безумств – это называется у вас любовью. И ваш брак, как одна длинная глупость, кладет конец многим коротким безумствам.

Ваша любовь к жене и любовь жены к мужу – ах, если бы могла она быть жалостью к страдающим и сокрытым богам! Но почти всегда два животных угадывают друг друга.

И даже ваша лучшая любовь есть только восторженный символ и болезненный пыл. Любовь – это факел, который должен светить вам на высших путях.

Когда-нибудь вы должны будете любить дальше себя! Начните же *учиться* любить! И оттого вы должны были испить горькую чашу вашей любви.

Горечь содержится в чаше даже лучшей любви: так возбуждает она тоску по сверхчеловеку, так возбуждает она жажду в тебе, созидающем!

Жажду в созидающем, стрелу и тоску по сверхчеловеку – скажи, брат мой, такова ли твоя воля к браку?

Священны для меня такая воля и такой брак. —

Так говорил Заратустра.

О свободной смерти

Многие умирают слишком поздно, а некоторые – слишком рано. Еще странно звучит учение: «умри вовремя!»

Умри вовремя – так учит Заратустра.

Конечно, кто никогда не жил вовремя, как мог бы он умереть вовремя? Ему бы лучше никогда не родиться! – Так советую я лишним людям.

Но даже лишние люди важничают еще своею смертью, и даже самый пустой орех хочет еще, чтобы его разгрызли.

Серьезно относятся все к смерти; но смерть не есть еще праздник. Еще не научились люди чтить самые светлые праздники.

Совершенную смерть показываю я вам; она для живущих становится жалом и священным обетом.

Своею смертью умирает совершивший свой путь, умирает победоносно, окруженный теми, кто надеются и дают священный обет.

Следовало бы научиться умирать; и не должно быть праздника там, где такой умирающий не освятил клятвы живущих!

Так умереть – лучше всего; а второе – умереть в борьбе и растратить великую душу.

Но как борющемуся, так и победителю одинаково ненавистна ваша смерть, которая скалит зубы и крадется, как вор, – и, однако, входит, как повелитель.

Свою смерть хвалю я вам, свободную смерть, которая приходит ко мне, потому что я хочу.

И когда же захочу я? – У кого есть цель и наследник, тот хочет смерти вовремя для цели и наследника.

Из глубокого уважения к цели и наследнику не повесит он сухих венков в святилище жизни.

Поистине, не хочу я походить на тех, кто сучит веревку: они тянут свои нити в длину, а сами при этом все пятятся.

Иные становятся для своих истин и побед слишком стары; беззубый рот не имеет уже права на все истины.

И каждый желающий славы должен уметь вовремя проститься с почестью и знать трудное искусство – уйти вовремя.

Надо перестать позволять себя есть, когда находят тебя особенно вкусным, – это знают те, кто хотят, чтобы их долго любили.

Есть, конечно, кислые яблоки, участь которых – ждать до последнего дня осени; и в то же время становятся они спелыми, желтыми и сморщенными.

У одних сперва стареет сердце, у других – ум. Иные бывают стариками в юности; но кто поздно юн, тот надолго юн.

Иному не удастся жизнь: ядовитый червь гложет ему сердце. Пусть же постарается он, чтобы тем лучше удалась ему смерть.

Иной не бывает никогда сладким: он гниет еще летом. Одна трусость удерживает его на его суку.

Живут слишком многие, и слишком долго висят они на своих сучьях. Пусть же придет буря и стряхнет с дерева все гнилое и червивое!

О, если бы пришли проповедники *скорой* смерти! Они были бы настоящей бурей и сотрясли бы деревья жизни! Но я слышу только проповедь медленной смерти и терпения ко всему «земному».

Ах, вы проповедуете терпение ко всему земному? Но это земное слишком долго терпит вас, вы, злословцы!

Поистине, слишком рано умер тот иудей, которого чтут проповедники медленной смерти; и для многих стало с тех пор роковым, что умер он слишком рано.

Он знал только слезы и скорбь иудея, вместе с ненавистью добрых и праведных – этот иудей Иисус; тогда напала на него тоска по смерти.

Зачем не остался он в пустыне и вдали от добрых и праведных! Быть может, он научился бы жить и научился бы любить землю – и вместе с тем смеяться.

Верьте мне, братья мои! Он умер слишком рано; он сам отрекся бы от своего учения, если бы он достиг моего возраста! Достаточно благороден был он, чтобы отречься!

Но незрелым был он еще. Незрело любит юноша, и незрело ненавидит он человека и землю. Еще связаны и тяжелы у него душа и крылья мысли.

Но зрелый муж больше ребенок, чем юноша, и меньше скорби в нем: лучше понимает он смерть и жизнь.

Свободный к смерти и свободный в смерти, он говорит священное Нет, когда нет уже времени говорить Да: так понимает он смерть и жизнь.

Да не будет ваша смерть хулою на человека и землю, друзья мои: этого прошу я у меда вашей души.

В вашей смерти должны еще гореть ваш дух и ваша добродетель, как вечерняя заря горит на земле, – или смерть плохо удалась вам.

Так хочу я сам умереть, чтобы вы, друзья, ради меня еще больше любили землю; и в землю хочу я опять обратиться, чтобы найти отдых у той, что меня родила.

Поистине, была цель у Заратустры, он бросил свой мяч; теперь будьте вы, друзья, наследниками моей цели, для вас закидываю я золотой мяч.

Больше всего люблю я смотреть на вас, друзья мои, когда вы бросаете золотой мяч! Оттого я простыну еще немного на земле; простите мне это! —

Так говорил Заратустра.

О дарящей добродетели

1

Когда Заратустра простился с городом, который любило сердце его и имя которого было «Пестрая корова», последовали за ним многие, называвшие себя его учениками, и составили свиту его. И так дошли они до перекрестка; тогда Заратустра сказал им, что дальше он хочет идти один: ибо он любил ходить в одиночестве. Но ученики его на прощанье подали ему посох, на золотой ручке которого была змея, обвившаяся вокруг солнца. Заратустра обрадовался посоху и оперся на него; потом он так говорил к своим ученикам:

– Скажите же мне: как достигло золото высшей ценности? Тем, что оно необыкновенно и бесполезно, блестяще и кротко в своем блеске; оно всегда дарит себя.

Только как символ высшей добродетели достигло золото высшей ценности. Как золото, светится взор у дарящего. Блеск золота заключает мир между луною и солнцем.

Необыкновенна и бесполезна высшая добродетель, блестяща и кротка она в своем блеске: дарящая добродетель есть высшая добродетель.

Поистине, я угадываю вас, ученики мои: вы стремитесь, подобно мне, к дарящей добродетели. Что у вас общего с кошками и волками?

Ваша жажда в том, чтобы самым стать жертвою и даянием; потому вы и жаждете собрать все богатства в своей душе.

Ненасытно стремится ваша душа к сокровищам и всему драгоценному, ибо ненасытна ваша добродетель в желании дарить.

Вы принуждаете все вещи приблизиться к вам и войти в вас, чтобы обратно изливались они из вашего родника, как дары вашей любви.

Поистине, в грабителя всех ценностей должна обратиться такая дарящая любовь; но здоровым и священным называю я это себялюбие. —

Есть другое себялюбие, чересчур бедное и голодающее, которое всегда хочет красть, — себялюбие больных, больное себялюбие.

Воровским глазом смотрит оно на все блестящее; алчностью голода измеряет оно того, кто может богато есть; и всегда ползает оно вокруг стола дарящих.

Болезнь и невидимое вырождение говорят в этой алчности; о чахлом теле говорит воровская алчность этого эгоизма.

Скажите мне, братья мои: что считается у нас худым и наихудшим? Не есть ли это *вырождение*? – И мы угадываем всегда вырождение там, где нет дарящей души.

Вверх идет наш путь, от рода к другому роду, более высокому. Но ужасом является для нас вырождающееся чувство, которое говорит: «все для меня».

Вверх летит наше чувство: ибо оно есть символ нашего тела, символ возвышения. Символ этих возвышений суть имена добродетелей.

Так проходит тело через историю, становящееся и борющееся. А дух – что он для тела? Глашатай его битв и побед, товарищ и отголосок.

Символы все – имена добра и зла: они ничего не выражают, они только подмигивают. Безумец тот, кто требует знания от них.

Будьте внимательны, братья мои, к каждому часу, когда ваш дух хочет говорить в символах: тогда зарождается ваша добродетель.

Тогда возвысилось ваше тело и воскресло; своей отрадою увлекает оно дух, так что он становится творцом, и ценителем, и любящим, и благодетелем всех вещей.

Когда ваше сердце бьется широко и полно, как бурный поток, который есть благо и опасность для живущих на берегу, – тогда зарождается ваша добродетель.

Когда вы возвысились над похвалою и порицанием и ваша воля, как воля любящего, хочет приказывать всем вещам, – тогда зарождается ваша добродетель.

Когда вы презираете удобство и мягкое ложе и можете лечь недостаточно далеко от мягкотелых, – тогда зарождается ваша добродетель.

Когда вы хотите единой воли и эта обходимость всех нужд называется у вас необходимостью, – тогда зарождается ваша добродетель.

Поистине, она есть новое добро и новое зло! Поистине, это – новое глубокое журчание и голос нового ключа!

Властью является эта новая добродетель; господствующей мыслью является она и вокруг нее мудрая душа: золотое солнце и вокруг него змея познания.

2

Здесь Заратустра умолк на минуту и с любовью смотрел на своих учеников. Затем продолжал он так говорить – и голос его изменился:

– Оставайтесь верны земле, братья мои, со всей властью вашей добродетели! Пусть ваша дарящая любовь и ваше познание служат смыслу земли! Об этом прошу и заклинаю я вас.

Не позволяйте вашей добродетели улетать от земного и биться крыльями о вечные стены! Ах, всегда было так много улетевшей добродетели!

Приводите, как я, улетевшую добродетель обратно к земле, – да, обратно к телу и жизни; чтобы дала она свой смысл земле, смысл человеческий!

Сотни раз улетали и заблуждались до сих пор дух и добродетель. Ах, в вашем теле и теперь еще живет весь этот обман и заблуждение: плотью и волею сделались они.

Сотни раз делали попытку и заблуждались до сих пор как дух, так и добродетель. Да, попыткой был человек. Ах, много невежества и заблуждений сделались в нас плотью!

Не только разум тысячелетий – также безумие их прорывается в нас. Опасно быть наследником.

Еще боремся мы шаг за шагом с исполином случаем, и над всем человечеством царила до сих пор еще бессмыслица, бессмыслица.

Да послужат ваш дух и ваша добродетель, братья мои, смыслу земли: ценность всех вещей да будет вновь установлена вами! Поэтому вы должны быть борющимися! Поэтому вы должны быть созидателями!

Познавая, очищается тело; делая попытку к познанию, оно возвышается; для познающего священны все побуждения; душа того, кто возвысился, становится радостной.

Врач, исцелись сам, и ты исцелишь также и своего больного. Было бы лучшей помощью для него, чтобы увидел он своими глазами того, кто сам себя исцеляет.

Есть тысячи троп, по которым еще никогда не ходили, тысячи здоровий и скрытых островов жизни. Все еще не исчерпаны и не открыты человек и земля человека.

Бодрствуйте и прислушивайтесь, вы, одинокие! Неслышными взмахами крыл веют из будущего ветры; и до тонких ушей доходит благая весть.

Вы, сегодня еще одинокие, вы, живущие вдаль, вы будете некогда народом: от вас, избравших самих себя, должен произойти народ избранный и от него – сверхчеловек.

Поистине, местом выздоровления должна еще стать земля! И уже веет вокруг нее новым благоуханием, приносящим исцеление, – и новой надеждой!

3

Сказав эти слова, Заратустра умолк, как тот, кто не сказал еще своего последнего слова; долго в нерешимости держал он посох в руке. Наконец так заговорил он – и голос его изменился:

– Ученики мои, теперь ухожу я один! Уходите теперь и вы, и тоже одни! Так хочу я.

Поистине, я советую вам: уходите от меня и защищайтесь от Заратустры! А еще лучше: стыдитесь его! Быть может, он обманул вас.

Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.

Плохо оплачивает тот учителю, кто навсегда остается только учеником. И почему не хотите вы ощипать венок мой?

Вы уважаете меня; но что будет, если когда-нибудь падет уважение ваше? Берегитесь, чтобы статуя не убила вас!

Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре! Вы – верующие в меня; но что толку во всех верующих!

Вы еще не искали себя, когда нашли меня. Так поступают все верующие; потому-то всякая вера так мало значит.

Теперь я велю вам потерять меня и найти себя; и только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам,

Поистине, другими глазами, братья мои, я буду тогда искать утерянных мною; другою любовью я буду тогда любить вас.

И некогда вы должны будете еще стать моими друзьями и детьми единой надежды; тогда я захочу в третий раз быть среди вас, чтобы отпраздновать с вами великий полдень.

Великий полдень – когда человек стоит посреди своего пути между животным и сверхчеловеком и празднует свой путь к закату как свою высшую надежду: ибо это есть путь к новому утру.

И тогда заходящий сам благословит себя за то, что был он переходящий; и солнце его познания будет стоять у него на полдне.

«Умерли все боги; теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек» – такова должна быть в великий полдень наша последняя воля! —

Так говорил Заратустра.

Часть вторая

*...И только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам. Поистине, другими глазами, братья мои, я буду тогда искать утерянных мною; другою любовью я буду тогда любить вас.
«Заратустра», «О дарящей добродетели» (II 340) [II 56]*

Ребенок с зеркалом

После этого Заратустра опять возвратился в горы, в уединение своей пещеры, и избегал людей, ожидая, подобно сеятелю, посеявшему свое семя. Но душа его была полна нетерпения и тоски по тем, кого он любил: ибо еще многое он имел дать им. А это особенно трудно: из любви сжимать отверстую руку и, как дарящий, хранить стыдливость.

Так проходили у одинокого месяцы и годы; но мудрость его росла и причиняла ему страдание своей полнотою.

Но в одно утро проснулся он еще задолго до зари, долго припоминал что-то, сидя на своем ложе, и наконец заговорил в своем сердце:

«Что же так напугало меня во сне, что я проснулся? Разве не ребенок подходил ко мне, несший зеркало?

«О Заратустра, – сказал мне ребенок, – посмотри на себя в зеркало!»

Посмотрев в зеркало, я вскрикнул, и сердце мое содрогнулось: ибо не себя увидел я в нем, а рожа дьявола и язвительную усмешку его.

Поистине, слишком хорошо понимаю я знамение снов и предостережение их: мое учение в опасности, сорная трава хочет называться пшеницею!

Мои враги стали сильны и исказили образ моего учения, так что мои возлюбленные должны стыдиться даров, что дал я им.

Утеряны для меня мои друзья; настал мой час искать утерянных мною!»

С этими словами Заратустра вскочил с ложа, но не как испуганный, ищущий воздуха, а скорее как пророк и песнопевец, на которого снизошел дух. С удивлением смотрели на него его орел и его змея: ибо, подобно утренней заре, грядущее счастье легло на лицо его.

Что же случилось со мной, звери мои? – сказал Заратустра. – Разве я не преобразился? Разве не пришло ко мне блаженство, как бурный вихрь?

Безумно мое счастье, и, безумное, будет оно говорить; слишком оно еще юно – будьте же снисходительны к нему!

Я ранен своим счастьем, все страдающие должны быть моими врачами!

К моим друзьям могу я вновь спуститься, а также к моим врагам! Заратустра вновь может говорить, и дарить, и расточать свою любовь любимым.

Моя нетерпеливая любовь изливается через край в бурных потоках, бежит с высот в долины, на восток и на запад. С молчаливых гор и грозowych туч страдания с шумом спускается моя душа в долины.

Слишком долго тосковал я и смотрел вдаль. Слишком долго принадлежал я одиночеству – так разучился я молчанию.

Я всецело сделался устами и шумом ручья, ниспадающего с высоких скал; вниз, в долины, хочу я низринуть мою речь.

И пусть низринется поток моей любви туда, где нет пути! Как не найти потоку в конце концов дороги к морю!

Правда, есть озеро во мне, отшельническое, себе довлеющее; но поток моей любви мчит его с собою вниз – к морю!

Новыми путями иду я, новая речь приходит ко мне; устал я, подобно всем созидаящим, от старых щелкающих языков. Не хочет мой дух больше ходить на истоптанных подошвах.

Слишком медленно течет для меня всякая речь – в твою колесницу я прыгаю, буря! И даже тебя я хочу хлестать своей злобою!

Как крик и как ликование, хочу я мчаться по дальним морям, пока не найду я блаженных островов, где замешкались мои друзья, —

И мои враги между ними! Как люблю я теперь каждого, к кому могу я говорить! Даже мои враги принадлежат к моему блаженству.

И когда я хочу сесть на своего самого дикого коня, мое копье помогает мне всего лучше: оно во всякое время готовый слуга моей ноги —

Копье, что бросаю я в моих врагов! Как благодарю я моих врагов, что я могу наконец метнуть его!

Слишком велико было напряжение моей тучи; среди хохота молний хочу я градом осыпать долины.

Грозно будет тогда вздыматься моя грудь; грозно по горам взбушует буря ее – так придет для нее облегчение.

Поистине, как буря, грядет мое счастье и моя свобода! Но мои враги должны думать, что *злой дух* неистовствует над их головами.

Даже вы, друзья мои, испугаетесь моей дикой мудрости и, быть может, убежите от нее вместе с моими врагами.

Ах, если бы сумел я пастушеской свирелью обратно привлечь вас! Ах, если бы моя львица мудрость научилась нежно рычать! Многому уже учились мы вместе!

Моя дикая мудрость зачала на одиноких горах; на жестких камнях родила она юное, меньшее из чад своих.

Теперь, безумная, бежит она по суровой пустыне и ищет, все ищет мягкого дерну – моя старая дикая мудрость!

На мягкий дерн ваших сердец, друзья мои! – на вашу любовь хотела бы она уложить свое возлюбленное чадо! —

Так говорил Заратустра.

На блаженных островах

Плоды падают со смоковниц, они сочны и сладки; и пока они падают, сдвигается красная кожа их. Я северный ветер для спелых плодов.

Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам эти наставления, друзья мои; теперь пейте их сок и ешьте их сладкое мясо! Осень вокруг нас, и чистое небо, и время после полудня.

Посмотрите, какое обилие вокруг нас! И среди этого преизбытка хорошо смотреть на дальние моря.

Некогда говорили: Бог, – когда смотрели на дальние моря; но теперь учил я вас говорить: сверхчеловек.

Бог есть предположение, но я хочу, чтобы ваше предположение простиралось не дальше, чем ваша созидаящая воля.

Могли бы вы *создать* Бога? – Так не говорите же мне о всяких богах! Но вы несомненно могли бы создать сверхчеловека.

Быть может, не вы сами, братья мои! Но вы могли бы пересоздать себя в отцов и предков сверхчеловека; и пусть это будет вашим лучшим созданием!

Бог есть предположение; но я хочу, чтобы ваше предположение было ограничено рамками мыслимого.

Могли бы вы *мыслить* Бога? – Но пусть это означает для вас волю к истине, чтобы все превратилось в человечески мыслимое, человечески видимое, человечески чувствуемое! Ваши собственные чувства должны вы продумать до конца!

И то, что называли вы миром, должно сперва быть создано вами: ваш разум, ваш образ, ваша воля, ваша любовь должны стать им! И поистине, для вашего блаженства, вы, познающие!

И как могли бы вы выносить жизнь без этой надежды, вы, познающие? Вы не должны быть единокорны с непостижимым и неразумным.

Но я хочу совсем открыть вам свое сердце, друзья мои: *если бы* существовали боги, как удержался бы я, чтобы не быть богом! *Следовательно*, нет богов.

Правда, я сделал этот вывод; но теперь он выводит меня.

Бог есть предположение; но кто испил бы всю муку этого предположения и не умер бы? Неужели нужно у созидającego отнять его веру и у орла его парение в доступной орлам высоте?

Бог есть мысль, которая делает все прямое кривым и все, что стоит, вращающимся. Как? Время исчезло бы, и все преходящее оказалось бы только ложью?

Мыслить подобное – это вихрь и вертячка для костей человеческих и тошнота для желудка; поистине, предположить нечто подобное называю я болезнью верчения.

Злым и враждебным человеку называю я все это учение о едином, полном, неподвижном, сытом и непреходящем!

Все непреходящее есть только символ! И поэты слишком много лгут. —

Но о времени и становлении должны говорить лучшие символы: хвалой должны они быть и оправданием всего, что преходит!

Созидать – это великое избавление от страдания и облегчение жизни. Но чтобы быть созидающим, надо подвергнуться страданиям и многим превращениям.

Да, много горького умирания должно быть в вашей жизни, вы, созидающие. Так будьте вы ходатаями и оправдателями всего, что преходит.

Чтобы сам созидающий стал новорожденным, – для этого должен он хотеть быть роженицей и пережить родильные муки.

Поистине, через сотни душ шел я своею дорогою, через сотни колыбелей и родильных мук. Уже много раз я прощался, я знаю последние, разбивающие сердце часы.

Но так хочет моя созидаящая воля, моя судьба. Или, говоря вам откровеннее: такой именно судьбы – волит моя воля.

Все чувствующее страдает во мне и находится в темнице; но моя воля всегда приходит ко мне как освободительница и вестница радости.

Воля освобождает: таково истинное учение о воле и свободе – ему учит вас Заратустра.

Не хотеть больше, не ценить больше и не созидать больше! ах, пусть эта великая усталость навсегда останется от меня далекой!

Даже в познании чувствую я только радость рождения и радость становления моей воли; и если есть невинность в моем познании, то потому, что есть в нем воля к рождению.

Прочь от Бога и богов тянула меня эта воля; и что осталось бы созидать, если бы боги – существовали!

Но всегда к человеку влечет меня сизнова пламенная воля моя к созиданию; так устремляется молот на камень.

Ах, люди, в камне дремлет для меня образ, образ моих образов! Ах, он должен дремать в самом твердом, самом безобразном камне!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.